

18+

ВИКТОР НЕКРАС

**НЕДОРОСЛИ.
ХОЛОДНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ**

Виктор Некрас

**Недоросли. Холодные
перспективы**

«Издательские решения»

Некрас В.

Недоросли. Холодные перспективы / В. Некрас — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-595698-9

Учёба в Морском корпусе продолжается, и трём друзьям-недорослям теперь придётся встретиться с новыми соперниками и познакомиться с новыми людьми.

ISBN 978-5-00-595698-9

© Некрас В.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Вразнойбой	6
Глава 2. На чужбине	20
Глава 3. Дно	34
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Недоросли. Холодные перспективы

Виктор Некрас

*Недоросль – молодой дворянин, не достигший совершеннолетия
и не поступивший еще на государственную службу.*

«Толковый словарь русского языка»

под редакцией Д. Н. Ушакова

Ныне, присно, во веки веков, старина,

И цена есть цена,

и вина есть вина,

И всегда хорошо, если честь спасена,

если другом надёжно прикрыта спина.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

© Виктор Некрас, 2023

ISBN 978-5-0059-5698-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Вразнобой

1

На замороженных окнах от печного жара протаяли прозрачные озёрца, в которые косо падали длинные блики – солнце поворотило к западу, и скоро эти блики повернутся и станут не косыми, а прямыми, станут ещё длиннее, дотянутся и до жарко натопленной изразцовой печи.

Окна были высокие, почти в человеческий рост, с тяжёлыми переплётами карельской берёзы, и в каждом – стёкла размером с лист бумаги in quarto¹.

Влас стоял коленями на стуле, опершись на выгнутую спинку локтями, задумчиво шевелил ступнями и безотрывно глядел в проталину на окне, прижимаясь лбом к окуржавелому стеклу. Лоб леденило холодом – привычное ощущение. Стёкла у Иевлевых были не самого лучшего качества, чуть мутноваты, там и сям тронулись желтизной, а кое-где и прозеленю, но широкий простор заснеженного залива разглядеть было можно.

Отсюда, с Коломны, вид на залив и так был хорош, а иевлевский дом ещё к тому же стоял у самой набережной, и от морских (морских, да... и всё-таки – морских!) ветров его чуть прикрывали только три сосны на песчаном откосе, сами изогнутые от постоянного ветра.

Кто-то протяжно вздохнул около самого уха, Влас медленно повернул голову.

Венедикт.

Веничка.

– Что там? – таинственным шёпотом спросил кузен, заинтересованно кивая в окно. Власу понадобилось всего мгновение, чтобы понять, что кузен иронизирует. Ну и правильно – ишь, гость, уставился в окно и в ус не дует.

Он нехотя повернулся спиной к окну и уселся на стуле, забросил ногу на ногу, качнул носком штиблета.

– Нет, ну правда, Влас, – Венедикт чуть надулся, упал на соседний стул, толкнул помора в бок. – Чего ты там увидал такое?

– Море, – нехотя ответил Смолятин. Теперь ему и самому уже казалось дивно – эва, моря не видал, что ли? Видал и не таково, как эта Маркизова лужа, настоящее море! – Видел, простор какой?

– Льды, – всё ещё непонимающе сказал Венедикт.

– Ну да, – кивнул Влас. – На Белое море наше похоже. У нас от крыльца в Онеге, бывало вот такой же вид открывался – и льды, и торосы, и далеко-далеко на льду – полынья, а около неё словно пятнышко серое – нерпа подышать вылезла, свинья водяная... только льды – белые-белые, а здесь немножко зеленью отливают...

Голос его дрогнул, чему помор сам несказанно удивился – видимо, всё же стосковался он по дому. Впервой так надолго из дому уехал – хаживал и на Матку, и на Грумант, и в норвеги, только ни разу дольше трёх месяцев не доводилось, да и постоянно рядом свои, знакомцы были, которых знал с малолетства. А сейчас он в Питере уже больше полугода, а из своих знакомцев, которые поморской говоркой умеют – только брат Аникей, да и тот больше поздешнему изъясняется. Да и сколько ты его видел, того брата-то за полгода? Два раза, да и те на последний месяц пришли, на декабрь.

– Тоскуешь? – всё так же и тихо и понимающе спросил вдруг Венедикт, и Власа мгновенно охватило сразу два противоречивых чувства.

¹ В четверть бумажного листа, т. е. А4.

Сначала – словно чем-то тёплым прошлось по душе, вот-вот – и слёзы на глазах появятся, так, словно кто-то родной рядом возник и по голове погладил. Впрочем, если подумать, то так и есть – Венедикт-то как-никак родня. Но думать не хотелось ничуть.

Потом, сразу вслед за первым – злость. Да что этот мальчишка (пусть даже и ровесник, а всё равно – сопляк!) о себе воображает?! В море не бывал, на кулаках с другими кадетами и то побиться робеет – а туда же, в утешители лезет!

Но прихлынуло волнами и тут же ушло. Мгновенно. Спряталось где-то в глубине, затаилось, словно палтус в песчаном дне.

Венедикт, видимо, всё же что-то почувствовал, чуть отодвинулся даже, глянул настороженно. Влас выдавил из себя улыбку – должно быть, подействовало, поверил кузен.

Или не поверил. Но понять это ни тот, ни другой уже не успели.

Дверь распахнулась с треском, обе филёнки стукнули о стены, и в комнату вбежали две девочки в одинаковых платьях тёмно-голубого батиста с кружевами и рюшками, с шиньонами² в тёмно-каштановых волосах – обе были похожи на Иевлева.

Близняшки.

Остроносые, лица как миндальный орех, карие глаза, ямочки на щеках. И не отличишь, только одна чуть ниже ростом и черты лица тоньше и мельче.

Сёстры Венедикта, Наташа и Соня. Натали и Софи, как они представились при знакомстве, но тут же исправились и назвали русские имена, как только мать Венедикта сделала строгое лицо.

– Ага! – звонко выкрикнула Наташа, старшая (Власу втайне уже сообщили, что она старше на четверть часа), та, у которой черты лица покрупнее и ростом повыше. – Нашли! Вот вы где, братцы!

Нет, жаловаться было не на что – помора Иевлевы приняли как своего, так, словно давно забытый родственник воротился после долгой отлучки (тем более, что в какой-то мере так оно и было). У Власа даже возникло странное чувство досады на материну гордость – и чего было дичиться столичной родни?! Хотя в глубине души он, конечно, понимал – чего. И сам, пожалуй, был таким же, как и Аникей. Мало ли что там когда-то прадед Ванятка Рябов женился на дочери капитан-командора? Мужик есть мужик, а дворяне есть дворяне. Как на Дону когда-то говорили – не водись жиды с самарянами, а казаки – с дворянами. Однако вот же – встретились, и всё хорошо.

Девочки сразу же окрестили его «братцем» – Влас не возражал. Братец так братец, тем более что обе эти егозы живо напомнили ему и дом, и Иринку. Таскали за руки по дому, не пускали в комнату Венедикта, куда кузен несколько раз порывался его затянуть. Потом всё же затянул вот. И тут на Власа накатило – в окно поглядеть.

Однако близняшки и здесь их нашли.

– Матушка велела передать, что ждёт всех к столу через час, – сказала, посмеиваясь, Софи – несмотря на недовольство мадам Иевлевой, Влас всё-таки звал кузин их французскими именами. Про себя звал, но не сомневался, что язык не повернётся звать их иначе и в глаза. Тем более, что и Венедикт звал сестёр так же.

– Натали, Софи, – просительно сказал Венедикт из-за его спины. Девочки весело перегнулись и одновременно рассмеялись.

– Уходим, уже уходим, дорогой брат, – тонко пропела Натали, делая насмешливый книксен. – Как же, понятно, у вас тут мужские тайны...

Близняшки вновь расхохотались и скрылись за дверью.

² Шиньон – женская причёска с использованием волос, собранных на затылке, то же, что и пучок (от франц. chignon – затылок). Чаще всего для шиньонов используют накладные волосы.

– Идём, – Венедикт неловко прикоснулся к плечу кузена, словно хотел его подтолкнуть перед собой, но не решился. Нет, Веничка, не меняешься ты, – вздохнул про себя Влас, подчиняясь и шагая ближе к книжному шкафу.

И через мгновение забыл обо всём остальном.

Корешки книг – потёртые и новенькие, матерчатые и кожаные. Буквы – позолоченные и посеребрённые, тиснёные и рисованные киноварью.

– А богато живёшь, кузен, – не удержался Влас, с завистью сказал, разглядывая книги.

Их было не так уж и много, десятка три, но разве это мало для того, у кого на столе никогда больше двух-трёх книг не бывало, и то чужих, взятых на время. Только истинный книголюб поймёт это завистливое чувство.

Несмело протянул руку, коснулся корешков кончиками пальцев.

Вот Пушкин – «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы» – карандашные рисунки, плотный картон переплётов и матерчатые корешки.

Вот Гомерово сказание «Илиада», перевод Ермила Кострова, новиковское издание 1787 года.

Вот «Путешествия в некоторые отдалённые страны мира в четырёх частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей», ехидная, остроумная и желчная книга, написанная сто лет назад англиканским священником Джонатаном Свифтом. Влас никогда раньше не держал её в руках, но много раз слышал о ней от лейтенанта Завалишина, и потому сразу узнал по корешку, стоило только прочитать первые слова названия. Николай Иринархович отзывался о «Путешествиях...» со сдержанным восхищением, а вот отец Власа, послушав, его, хмуро попросил лейтенанта не смущать незрелый мальчишки. Впрочем, Влас, подслушав случайно отцов разговор с офицером, немедленно пообещал себе при случае найти и прочитать эту книгу.

– Да ты не туда смотришь, – с лёгкой досадой сказал кузен, лёгким толчком поворачивая голову Власа влево. – Сюда глянь.

И вправду!

Помор глянул и чуть не задохнулся.

Сэр Вальтер Скотт собственной персоной, прошу любить и жаловать.

«Пуритане». «Чёрный карлик». «Легенда о Монгрозе». «Гай Мэннериг».

И рядом – английские издания, ещё не переведённые в России.

«Rob Roy». «Ivanhoe». «The Pirate». «Quentin Durward».

– О боже, – только и смог выговорить Влас под довольный смех Венедикта. – Какое сокровище... откуда?

– У меня батюшка служит по дипломатической части, – пояснил кузен, блестя глазами. – Выписал из Англии через своего давнего знакомца.

Влас в ответ только длинно и прерывисто вздохнул.

– Я из них только «Пуритан» читал, да ещё отрывки из «Айвенго» в журнале каком-то, забыл название, – сказал он, глядя на полку расширенными глазами.

– Ну вот теперь и считаешь, – засмеялся Венедикт довольно. – Хоть и сегодня вечером, – и в ответ на удивлённый взгляд Власа сказал решительно. – Я с матушкой уже поговорил – незачем тебе на ночь глядя в корпус невесть как добираться, поспрадуешь Рождество с нами, да и заночуешь у нас, а с утра вместе и поедем.

Отец Венедикта Иевлева оказался неожиданно малосимпатичным и остро напомнил Смолятину Кашея Бессмертного из сказок бабки Анисьи, отцовой матери – именно таким Влас себе Кашея всегда и представлял – худой, да так, что страшновато, кожа на угловатом костистом лице в обтяжку, высокие залысины от лба, тяжёлая, гладко выбритая челюсть. Черепаховые очки с толстыми стёклами нависают над прямым носом, а тёмно-лиловый сюртук обвисает

на тощем теле, словно мужичья рваная рубаха на огородном пугале – так и кажется, что вот дунет ветер и взовьются полы сюртука, захлопают на ветру парусом с оборванными шкотами³.

Голос Иевлева-старшего неожиданно оказался ему под стать – скрипучий и пронзительный.

– Сильвестр Иеронимович, – представился он, пожимая Власу руку. Пожатие было крепким, хотя и рука оказалась такой же костлявой, как и лицо. – По деду назван, вашему прадеду, стало быть. А к вам как обращаться, родственник?

– Влас, – чуть стеснённо пробормотал помор, гадая, как разговаривать с новой роднёй – Иевлев-старший ему остро не понравился. А ведь его теперь, пожалуй, дядей величать придётся.

– А по отчеству? – улыбка Сильвестра Иеронимовича тоже была малопривлекательной, тонкие губы растягивались словно гуттаперчевые в почти прямую линию, да и доброжелательства в голосе было маловато.

– Логгинович, – Влас кашлянул, медленно обретая спокойствие. – Только ни к чему это, Сильвестр Иеронимович, я ведь вас намного младше, вполне будет достаточно, если вы станете обращаться ко мне по имени.

На столе у Иевлевых красовался жареный гусь с яблоками, точно такой же, какие стояли на столах и в Корпусе, только здешний гусь был раза в полтора побольше, к тому же в корпусе Власу от гуся достался только крыло (правда мяса на нём было вдосталь), а сейчас перед ним на тарелке красовался сочный кусок гусяного окорока, и коричневые шкварки на коже исходили ароматным паром. Хлеба тоже было вдосталь, и чёрного, и белого, посреди стола красовалась большая фаянсовая супница, из-под сдвинутой крышки которой тянуло знакомым ароматом – тройная налимья уха, тут же опознал Влас знакомый запах. И почти тут же перед ним очутилась глубокая миска с этой ухой – янтарные лужицы жира окружали крупные куски беловатого рыбьего мяса и перья жареного лука.

По-простому едят, – порадовался про себя Влас, берясь за серебряную ложку. Страх подумать, что было бы, кабы перед ним на столе оказался сложный столовый прибор из полутора десятков ножей и вилок, который ему как-то довелось видеть в обеденной комнате адмирала Карцова. Откуда ж ему, поморскому мальчишке, знать, что с теми вилками и ножиками делать, как держать, да когда именно в ход пускать.

Ел Иевлев-старший так же, как и выглядел – чопорно и угловато двигаясь, деревянно тянул ко рту ложку с ухой. Опрокинул серебряную чарку домашней кедровой настойки («ради праздника и нового знакомства»), уколос Власа неприятным взглядом, отчего кадет съёжился и едва не отложил ложку, прожевал кусок гуся, выпил ещё и, промокнув губы тонкой батистовой салфеткой, поднялся из-за стола.

– Благодарю, хозяйка, – церемонно склонил он голову в сторону жены, которая, к изумлению Власа, смотрела на него едва ли не с обожанием. – Прошу у всех прощения, но мне надо работать. Рад был познакомиться с новой старой роднёй...

Он вновь уколол Власа неприятным взглядом и удалился из столовой, шаркая и чуть прихрамывая.

– Не понравился тебе отец? – в голосе Венедикта прозвучали одновременно сдержанная усмешка и едва заметная обида.

Влас промолчал.

В спальне царил полумрак, за окном едва слышно шуршала позёмка, а в углу на тягле (божнице, – напомнил себе Влас местный выговор) едва тлела масляная лампада, бросая длинные дрожащие тени на стены, обтянутые цветной тканью.

³ Шкот – снасть бегучего такелажа, предназначенная для растягивания нижних (шкотовых) углов парусов по рею или гику.

Офицерскую складную кровать принёс для Власа из кладовки лакей – видно было, что он недоволен чудачеством молодого господина, благо в доме нашлась бы для гостя и целая свободная комната, но Венедикт упёрся: «Влас будет ночевать у меня!», за что Смолятин был ему только благодарен – окажись он один в чужой комнате – и вовсе тоска бы взяла. Недовольство недовольством, но ни единого недовольного слова лакей сказать всё-таки не посмел.

– Ты не думай, что он вот такой, – голос Венедикта чуть дрогнул. – Нелюдимый там или чёрствый... ну да, сначала можно и так подумать. Только он на своей службе едва не в первых. А хромает от того, что маму во время наводнения спасал... вроде как вот вы с товарищами нашего эконома и профоса. Ногу ему бревном подбило...

Власу стало стыдно.

Ведь не зря же говорят – не суди людей по внешности. Он накрепко зажмурился, радуясь, что лампада едва светит, и Венедикту не разглядеть его лица.

– А тебе он и вправду рад, – судя по голосу, Иевлев улыбался. Влас молчал, и Венедикт, приподнявшись на локте, спросил. – Ты спишь, что ли?

Влас молчал, стараясь, чтобы его дыхание было как можно ровнее.

Пусть думает, что я сплю.

2

– А вы удивительно хорошо знаете русский язык...

Пан Адам Мицкевич мельком глянул в окно (с серого питерского неба косо несло крупными хлопьями снег – обычная рождественская непогода) и, невольно поёжась, снял с вешалки плотную дорожную шляпу с широкими полями. Покосился на башенные напольные часы в углу – тёмный орех, чиппендейловская резьба (ангелы и единороги), фигурные бронзовые стрелки в стиле барокко, готическая цифирь на посеребрённом циферблате.

– Юзек! – позвал он, невольно повышая голос. Невзорович на выкрик пана Адама чуть вздрогнул, но не изменил позы – мальчишка сидел на высокой укладке, подобрав ноги в мягких домашних туфлях-бабушах.

В дверь просунулась кудлатая непокрытая голова – густые усы и короткая, стриженная борода, глаза цвета старого ореха, прямой нос с едва заметной горбинкой. Кроме того, можно было видеть тёмную от загара шею и едва заметно засаленный ворот рубахи под тёмно-зелёным сюртуком.

– Юзек, наконец-то, – раздражённо бросил пан Адам. – Кофры готовы?

– Ещё несколько минут, пане, – терпеливо ответил Юзек, чуть кланяясь. Он равнодушно скользнул глазами по сидящему на укладке Глебу – а чего ему удивляться, когда он вчера сам отворил дверь перед этим мальчишкой, который в последние полтора месяца с именин пана Адама стал в этой квартире своим человеком. Да и постель вчера для этого мальчишки готовил тоже он. – Никак не могу самый большой кофр закрыть...

Голова камердинера скрылась за дверью.

– Вы всё-таки уезжаете, пан Адам? – вопрос был простой вежливостью, Глеб ещё с прошлого визита знал о намерении Мицкевича уехать, правда, поэт в тот раз так и не сказал, куда он едет.

– Да, Глеб, через час с Сенной уходит дилижанс на Москву, – рассеянно ответил Мицкевич, снова нетерпеливо глянув в окно, бросил шляпу на укладку рядом с Глебом, привычным движением взбил пышные бакенбарды. – Наконец-то уеду из этого инеистого Вавилона...

– А едете-то?.. – Невзорович не договорил.

– В Одессу еду, – прерывисто вздохнул Мицкевич. – Не в Вильно и не в Варшаву, увы. Новая служба...

– Служба? – приподнял брови Глеб. Спустил, наконец, ноги с укладки, понимая, что всё равно сейчас придётся собираться – собственно и ночевать-то вчера остался именно для того, чтобы пана Адама проводить.

– Да, – по тонким губам Мицкевича промелькнула едва заметная усмешка. – Профессором словесности в лицее Ришелье. В Одессе сейчас довольно много поляков и литвы...

Оборвав сам себя, он повернулся к столу, несколько мгновений разглядывал в беспорядке разбросанные бумаги – печатные и рукописные, гербовые и простые, в пометках, помарках, и исписанные убористым летящим почерком, потом наугад, но точно выдернул из кипы бумаг тонкий кожаный бювар. Скривил губы:

– Так и знал, что обязательно что-нибудь останется. А в кофрах уже свободного места и не осталось... – он помедлил мгновение и протянул бювар Невзоровичу. – Возьмите, Глеб. Это подарок.

Бювар был хорош. Жёлтая тиснёная кожа, серебряные оковки по углам, серебряные же монограммы, гнезда для карандашей и перьев, просторный карман для блокнота.

– А вы так и не ответили мне, – прервал вдруг Мицкевич благодарности Глеба, и кадет, подняв голову, наткнулся вдруг на пристальный цепкий взгляд поэта.

– А... о языке? – удивился Невзорович. – Так это просто. Батюшка мой, да и опекун тоже, смирились с властью царя и считали, что шляхтич должен знать государственный язык империи. Отец нанял для меня учителя, а потом, когда отец... – он помедлил мгновение, потом договорил, – потом пан Довконт продлил договор с учителем.

Разговор становился малоприятным, равно как и взгляд Мицкевича, но в этот миг дверь отворилась и перед взглядами пана Адама и Глеба вновь возникла кудлатая голова Юзека:

– Пан Адам, всё готово.

– А... да, – спохватился Мицкевич. – Собирайся, Юзек. Через полчаса ты должен быть готов к выходу.

Повернувшись к Глебу, он пояснил:

– Не оскорбляйтесь моим недоверием, пан Глеб, – он нервически передёрнул плечами, словно озяб от сочащегося из отворённой форточки холода. – Просто странно это. Редко какой шляхтич из Литвы едет учиться в царское военное заведение. Редко кто из шляхты знает и русский язык. И потом, я ведь имел самое прямое отношение к делу филаретов, а вас, тем не менее, не помню...

– Подозреваете, что я к вам приставлен надзирать? – понял Глеб и обиженно шмыгнул носом.

– Уже нет, – покачал головой Мицкевич. – Вы уже достаточно объяснили все мои недоумения.

Невзорович сбросил бабуши и решительно сунул ноги в штiblети, ощутив сквозь чулки едва заметную сырость, – чуть передёрнул плечами, предчувствуя зимнюю улицу.

– Не спешите, пан Глеб, – Мицкевич словно видел его насквозь, и всего парой слов способен был пригасить любые обиды. – Всё равно Юзек ещё не готов выходить. И потом, проводить меня должен прийти ещё один человек. Я хочу вас познакомить, хотя, вы, возможно, друг друга знаете и так.

Едва он договорил, как по всему парадному раскатился гулкий и частый стук дверного молотка – и почти сразу же Юзек выскочил за дверь на лестницу.

– О, а вот и он, должно быть, – оживился поэт, поворачиваясь к двери. Стук, между тем, прекратился, и скоро стали слышны шаги по лестнице, а потом через услужливо отворённую Юзеком дверь в прихожую проник юноша (самое большее, лет на пять старше Глеба) в тёмно-сером рединготе, под которой можно было видеть сюртук цвета слоновой кости. Сбитый на затылок чёрный боливар и монокль на тонкой цепочке.

– А, вот и вы, друг мой, – радушно приветствовал его Мицкевич, протягивая руку.

Обнявшись с поэтом, новый гость мельком бросил взгляд на Невзоровича, зацепился взглядом за мундир Корпуса и нахмурился. Глянул настороженно.

– Знакомьтесь, господа, – пан Адам широко повёл рукой в сторону Глеба. – Глеб Невзорович, кадет Морского корпуса, шляхтич Витебской губернии. Габриэль Кароляк, шляхтич Виленской губернии.

– Невзорович? – взгляд Габриэля стал ещё менее приветливым. – Я знал Невзоровичей... пана Станислава и пана Ксаверия...

– Это мой отец и мой старший брат, – ухватив в словах Кароляка паузу, кивнул Глеб. – Я тоже слышал о Кароляках... они – родня Виткевичам...

– Верно, – снисходительно согласился Габриэль. – Мой отец и пан Викторин были женаты на родных сестрах...

– Так вы, ваша милость, стало быть, кузен Янека Виткевича, Валленрода? – удивился и обрадовался Невзорович.

– Вы знаете Валленрода? – обрадовался в свою очередь Габриэль.

– Мы соседи, а с Янеком мы – друзья, – пояснил кадет, и в этот миг, услышав деликатное покашливание Мицкевича, оба молодых шляхтича смутились и повернулись к нему.

– Прошу прощения, пан Адам, – первым справился со смущением (он был старше и опытнее) Кароляк. – Мы несколько увлеклись...

Ответом был весёлый взгляд Мицкевича и приглашающий жест.

– Ничего страшного, панове, – пан Адам, тем не менее, нахлобучил на голову шляпу. – Время не ждёт, надо спешить, иначе можно было бы и далее предаваться поиску общих знакомых и родни...

– ...которых у нас много, – холодно добавил Кароляк и саркастически скривился. – Вся Литва – большая деревня, в которой Вильно – рыночная площадь у собора. Все всех знают...

– Вы, мой юный друг, меньше, чем на Варшаву, конечно же, не согласны, – неодобрительно, но снисходительно бросил Мицкевич, поворачиваясь к двери и крикнул в прихожую. – Юзек, моё пальто и кофры! Мы выходим!

– Безусловно, – всё так же холодно и твёрдо согласился с поэтом Кароляк, сбрасывая с плеча влажный комочек снега, а Глеб вдруг почувствовал обиду. Обиду за Литву, за укрытые в чащобах деревни и хутора, камышовые кровли крестьянских домов и гонтовые – помещичьих, за гонор застенковой шляхты... в общем, за всё.

Спускались по широкой полутёмной лестнице – впереди Юзек с тяжёлым кофром в руке, весь перекошенный на левое плечо для противовеса. За ним Глеб и Габриэль тащили кофр поменьше – для шляхтича не позор помочь старшему товарищу, даже если для этого придётся делать хлопью работу. И последним спускался почти налегке сам пан Адам, в одной руке – кожаный несессер с медными уголками и застёжками, в другой – плоский деревянный чемоданчик с пружинной задвижкой. На повороте лестницы (Мицкевич жил в бельэтаже и спускаться было – два пролёта) Глеб невольно покосился на чемоданчик, и пан Адам, перехватив его взгляд, пояснил:

– Там пистолеты. Мало ли что бывает в дороге...

– А в кофрах что? – полюбопытствовал Кароляк. – Тяжелы, холера ясна...

– Книги, друг мой, книги, – ответил Мицкевич, аккуратно сбрасывая со ступеньки какую-то засохшую с лета дрянь. Поморщился и сказал назидательно. – Пока что, к сожалению, не придумали способа, чтобы книги делать маленькими и лёгкими...

– Может и придумают ещё, – пропыхтел напряжённо Невзорович.

– Может быть, – охотно поддержал пан Адам. Прищурился, словно что-то припоминая. – В прошлом году Тадеуш Булгарина издал книгу «Правдоподобные небылицы, или Странствия

по свету в двадцать девятом веке». Занимательное чтение. Не доводилось листать, молодые люди?

Юноши согласно мотнули головами.

Не доводилось.

– Непременно прочтите, – Мицкевич странно усмехнулся. – Главные герой оказывается внезапно в грядущем времени, на тысячу лет вперёд... так вот, там, среди прочих любопытных вещей, пан Тадеуш описывает некую «сочинительную машину», из которой можно узнать очень многое. Должно быть, и книги в ней содержатся тоже. Как знать, может, к двадцать девятому-то веку эти машины и станут такими, чтобы уместиться в такой вот (пан Адам тряхнул чемоданчиком с пистолетами) саквояж.

Как знать, как знать...

Глеб промолчал, прикидывая, кто бы это мог быть такой – Тадеуш Булгарин. Тадеуш... да ведь это же Фаддей Венедиктович! Тот, что написал «Осаду Сарагоссы» и «Марину Мнишек», которые он, Глеб, читал в журналах в библиотеке Корпуса!

– Где... издано? – прерывисто выговорил заинтересовавшийся Кароляк, пинком отворяя дверь парадного. Юноши протолкнули кофр в дверь и, отдуваясь, поставили его на снег рядом с другим. А Юзек уже озирался по сторонам, выглядывая свободного извозчика.

– В прошлом году выходило в «Литературных листках», а в этом – в журнале «Северный архив», – Мицкевич осторожно притворил за собой дверь. – Не люблю, когда хлопают дверьми... должно быть, и окончание там же, в «Северном архиве» и выйдет.

Лихо подкатил извозчик, едва не забрызгав мокрым снегом, придирчиво оглядел с головы до ног, отметив, должно быть, в уме и шинель Невзоровича, и редингот Кароляка, и каррик⁴ Мицкевича.

– Прошу, господа!

– Господа не едут, – холодно произнёс пан Адам, и в ответ на рванувшиеся возражения Невзоровича и Кароляка только запрещающе приподнял трость. – Не стоит протестовать, панове... не люблю долгих прощаний, поэтому расстанемся здесь. Пан Глеб, рекомендую вам не ограничиваться только обществом русских, сведите знакомство с поляками и литвинами, это необходимо здесь. Пан Габриэль введёт вас в салон к Шиманской, в общество Олешкевича... пан Габриэль, я полагаюсь на вас и оставляю вашим заботам нашего юного друга.

Юноши не стали больше спорить, послушно склонили головы.

Извозчик помог Юзеку взгромоздить на запятки оба кофра, откинул перед Мицкевичем дверцу пролётки. Пан Адам легко вскочил по откидной ступеньке, обернулся, не садясь на сиденье.

– Итак, прощайте, господа!

Когда пролётка скрылась за поворотом, Габриэль повернулся к Невзоровичу:

– Ну что ж, кадет... идём!

Город радостно гудел.

Где-то пели – нестройно, хором, но что пели – не разобрать. Где-то с залихватским визгом неслись по улице на тройке с бубенцами, визжала какая-то баба. Вкусно пахло печевом и жарениной, горячим чаем и сбитнем, громко зазывали на улицах продавцы сбитня и бубликов. Шумели трактиры и лавки, с лёгким скрипом вертелась на сенной карусель, с криками носились там и сям мальчишки – только успевай береги карманы и кошелёк, Сенная, она такова.

⁴ Редингот – разновидность костюма для занятий верховой ездой, представлявшая собой нечто среднее между пальто и длинным сюртуком с прямыми полами и шалевым воротником. Каррик – мужское двубортное широкое пальто с 2-мя или 3-мя воротниками – пелеринами, покрывавшими плечи (от англ. carrick).

Вот и сейчас – на шляхтичей налетел мальчишка лет десяти в драном кучерском армяке и войлочном малахае, оторопело отскочил.

– Осторожней, лайдак⁵! – рявкнул ему Габриэль, сжимая кулаки. Пся крев, что за город!..

– Лях, – протянул мальчишка, ничуть, впрочем, не испугавшись. – А ты не лайся, а то я своих кликну – и тебе не поздоровится. Мы тут ляхов не любим, у нас тут свои порядки, русские...

– Что ты сказал, змеёныш?! – процедил Габриэль, шагая вперёд, вот-вот – и метнётся кулак, сомнёт мальчишку, собьёт с ног. Тот уже приготовился свистнуть, и понятно было, что по свистку прибежит человек десять. Тогда и впрямь несдобровать. Но Кароляк отступить не собирався – ещё чего не хватало, чтобы шляхтич отступал перед хлопом.

Но в этот миг вмешался Невзорович, который всё это время пристально разглядывал встречного.

– Погодите-ка, пан Кароляк... – придержал он за рукав нового знакомца. – Эй ты... как там тебя... Лёшка?!

«Мальшка». Тот самый.

«Мальшка», видимо, тоже узнал Глеба, остановился, разжимая кулаки, но по-прежнему настороженно косясь на Кароляка.

– А, и ты здесь, литвин... – процедил он, облизнул губы и покосился назад, на гудящую невдалеке толпу, и Глеб вдруг понял, что никаких «наших» с ним здесь нет, а «малышка», скорее всего, тут на свой страх и риск пробавляется.

– Ты чего это на людей бросаешься? – спросил он насмешливо. – Приятеля вот моего чуть с ног не сбил. Удираешь, что ли от кого?

– Да нет, чего удирать-то, – мальчишка независимо повёл плечом, переступил с ноги на ногу разбитыми опорками, покосился на Кароляка, который смотрел куда-то в сторону. – Сейчас везде промышлять можно, Святки же. А у приятеля вашего... твоего... прощения прошу.

И правда, у схизматиков же Святки, – вспомнил Глеб. – Вчера рождество было. Где-то в груди чуть потеплело – вспомнились родные Невзоры, да и Волколата Довмонтова – там православные крестьяне тоже праздновали церковные праздники почти на две недели позже, чем господа, католики и униаты.

– Ну раз такое дело, ради праздника, я думаю, мой приятель тебя простит, – он тоже покосился на Кароляка, и тот, подумав, нехотя кивнул. – Хоть и не наш это праздник, а всё равно – святой день.

«Мальшка» несколько мгновений ещё постоял, потом всё так же независимо шмыгнул носом, поправил капелюх и нырнул в толпу, загребая на ходу рыхлый снег опорками.

– Что-то ты какой-то слишком вежливый, пан Глеб, – процедил Кароляк, неприязненно глядя ему вслед. – С московскими хлопами дружбу водишь, фамильярничаешь...

Они перешли на «ты» вскоре после отъезда Мицкевича, когда выпили на брудершафт в трактире на Мойке. Горячее вино шумело в голове, и Невзорович уже представлял, как он будет красться в корпус, опасаясь, как бы не попасться на глаза дежурному офицеру, пусть даже и не Овсову, а Деливрону. Впрочем, на сыром и холодном воздухе городских улиц лёгкий хмель быстро выветривался.

– Да, так вышло, что знакомство свели, – бросил Невзорович как ни о чём не значащем, не принимая вызывающего тона. Он тоже смотрел вслед «малышке», словно хотел что-то о нём понять, потом повернулся к Кароляку. – Прошу меня простить, пан Габриэль, но мне сейчас надо спешить... надеюсь, что мы с вами ещё увидимся.

⁵ Лайдак – лодырь, ледащий человек, негодяй, шатун, плут и гуляка.

– Обязательно увидимся, пан Глеб, – подтвердил тот, щуря водянистые глаза. – Обязательно увидимся. Непременно заходите как будет возможность к Марии Шиманской, у неё салон, там собираются все наши земляки.

3

Грегори проходил мимо двери кабинета директора – шинель внакидку, фуражка сбита чуть набок, нарочно из дерзости. Праздники так праздники, пусть и в форме одежды тоже хоть какая-то вольность будет. Хотя, попадись он в этот миг на глаза, к примеру, Овсову – *кокосы*, а то и розог не миновать. Однако Грегори, глядя на *чугунных*, нарочно бравировал, ходил по краю опасности.

Нарывался на розги.

Хотя и невелика храбрость в праздники дерзить, когда даже *чугунным* почти ничего не грозит.

Рождество миновало, но праздничные дни продолжались – волей государя Александра Павловича на другой день после рождества праздновался день победы над узурпатором – двенадцать лет назад русская армия вышла к границам России как раз в сочельник.

Весь город на Рождество, кроме райков, балаганов и вертепов украшался флагами, на Марсовом поле всю вторую половину декабря маршировали пешие и конные гвардейские полки, покрывшие себя славой в войнах с республикой и узурпатором. Парад должен был состояться как раз сегодня. А в корпусе кадетам дали ещё один праздничный день. А если помнить, что назавтра суббота, в которую только танцевальные и гимнастические классы, то радость становится почти полной. Была бы полной, если бы и их отменили, но для этого, наверное, в лесу должно сдохнуть что-то очень большое, вроде слона или носорога. А поскольку в русских лесах такое зверье не водится – судите сами.

Тяжёлая дубовая дверь с причудливой резьбой и начищенными медными ручками была чуть приоткрыта – должно быть, вестовой по ротозейству забыл притворить, и из-за неё смутно доносились голоса. Грегори прибавил шагу, чтобы пройти мимо – не дело кадету, а тем более, дворянину, подслушивать у дверей. Даже если и не накажут, не застанут даже – для самого себя позор.

– ...кадета Смолятина... – прозвучало вдруг из-за двери, и мальчишка, наплевав на приличия, замер на месте. Никак про них говорят? Он мгновенно подавил вякнущую было совесть – отмолю грех, не страшно. Тем паче, не интимные тайны и не государевы секреты подслушиваю.

– Послушайте, дядюшка, но нельзя же так?! – в голосе Овсова было странное беспокойство, словно он пытался что-то объяснить «дядюшке».

– Почему же, Константин Иванович? – «дядюшка», всему корпусу известный, как его высокопревосходительство контр-адмирал Пётр Кондратьевич Карцов, действительно не понимал.

– Ваше высокопревосходительство! – мгновенно понял свою промашку Овсов (на службе и впрямь не следовало козырять своим родством с директором, к тому же в кабинете наверняка находился кто-то ещё из преподавателей или офицеров корпуса). – Но ведь много воли же дали! Разболтаются кадеты, потом, после праздников, как их обратно в упряжку-то вгонять...

– Отчасти вы правы, – мягко сказал кто-то и по характерному грассированию и насмешливым ноткам в голосе Грегори тут же узнал князя Ширинского-Шихматова. – Действительно, кадетам потом, после праздников сложно придётся, но я думаю, это всё же лучше, нежели держать их в ежовых рукавицах без отдыха.

Гришка криво усмехнулся – предсказуемо было и то, что и директор, и Сергей Александрович согласны с тем, что и кадетам надо отдохнуть, а Овсов хочет затянуть их в хомут.

Больше о нём и об его друзьях преподаватели не говорили, и Грегори, стараясь ступать как можно тише, прокрался мимо двери и двинулся вниз по лестнице, в фойе. Однако он успел пройти всего ступенек пять – еле слышно скрипнув, дверь директорского кабинета распахнулась во всю ширину, и голоса учителей зазвучали уже на лестничной площадке.

Прощались.

Стараться удирать теперь не стоило – заметят, и точно решат, что подслушивал. Тогда и розог не миновать. Конечно, правила хорошего тона *чугунных* требовали не бояться розог и самим напрашиваться на них, но Грегори отлично видел, что даже самые отъявленные сорви-головы нарывались только тогда, когда у них не было возможности увильнуть, либо была возможность покрасоваться своей храбростью и стойкостью. Не перед девицами (откуда в корпусе девицы?), а перед младшими, авторитет заполучить, чтоб глядели, рот разиня. Дураков среди кадет, а, тем более, среди гардемарин не было.

Он замедлил шаг, и стал ждать, пока кто-нибудь из преподавателей не кинет взгляд через каменные перила площадки и не заметит его в полумраке лестницы (на лестнице горела только небольшая масляная лампочка, вроде лампы, что зажигают у икон, считалось, что этого достаточно, и ног никто не ломает).

Так и вышло.

Тяжело хлопнула дубовая дверь, быстрые шаги гулко простучали по полу. Гришка вскинул голову и встретился взглядами с Овсовым – надзиратель торопливо спускался по лестнице, цокая подкованными каблуками по промёрзшим каменным ступеням. Шепелёв изо всех сил постарался сделать невозмутимое лицо, хотя неприязнь и едва ли не ненависть к Овсову так и лезла наружу.

Видимо, что-то всё-таки вылезло – офицер на пару мгновений задержался на лестнице, цепко глянул в лицо кадета.

Понял.

Плохо старался, Грегори.

– Подслушивали, кадет? – почти с ненавистью прошипел офицер.

– Кадет Шепелёв, ваше благородие! – отчеканил Гришка так, что казалось, звякнули начищенные до сияния бронзовые рожки люстры над лестницей. И посмотрел на Овсова как можно спокойнее, хотя в душе нарастала злость.

Хорошо было видно, что племянник директора едва сдерживается, чтобы не ударить мальчишку, уже и рука в кулак сжалась, даже перчатка скрипнула кожей. А попробуй, – холодея от злобы, подумал про себя Шепелёв. Ударить дворянина, пусть и мальчишку, по лицу – это даже для офицера непростительно, это не розгами по заднице высечь, и не тростью ударить, пусть даже и за провинность.

Несколько мгновений они меряли с Грегори друг друга взглядами, сжав губы и раздувая ноздри (оба, как один!).

– Вы как выглядите, кадет?! – в голосе Овсова явственно что-то лязгнуло.

Но в этот момент дверь в кабинет директора снова открылась. Оба спорщика, и офицер, и кадет глянули вверх, встретились взглядом с адмиралом. Пётр Кондратьевич остановился у парапета, цепко разглядывая обоих, и Овсов, видимо, что-то поняв или вспомнив, снова скрипнул лайкой перчатки, – разжал кулак.

– Много воли взяли, мальчишки! – процедил он, и Грегори мгновенно понял, что ему сейчас надо сделать.

– Так точно, ваше благородие! – вновь отчеканил он, и чуть посторонился, давая дорогу.

И тут же – цок, цок, цок! – каблуки по ступеням – офицер уходил. Только шпор не хватает, – сдержал ухмылку кадет, – чтоб звенели в такт цоканью. Хорош был бы надзиратель Морского корпуса, практически морской офицер – и со шпорами.

Хотя... может и есть такие дураки.

Ну готовься к весёлой жизни, кадет Шепелёв, с лёгким страхом и одновременно весело подумал Грегори. Сволочь. Пользуется тем, что племянник директора, а Пётр Кондратьевич человек мягкий. Будут тебе, Грегори, Святки, да такие, что всем святкам Святки.

А нет, не будет, – тут же возразил он сам себе, вспоминая недавний разговор Корфа и Невзоровича.

– Так уходит в отставку Пётр Геннадьевич, – уверенно ответил Корф, быстро покосившись по сторонам – не слышит ли кто ещё, кроме только что облагодетельствованных адмиралом мальчишек. – Я как верное слышал из канцелярии. На Рождество у нас уже будет новый директор.

– Теперь понятно, – просипел вдруг Глеб, и когда все поворотились к нему, пояснил, весело блестя глазами. – Понятно, с чего Овсов бесится. Он же скоро перестанет быть племянником директора. Поприжмут, небось, причинное-то место...

На Рождество новый директор не приехал, но приедет обязательно, к новому году-то точно, теперь об этом говорил не только сверхосведомлённый Корф, но и многие другие гардемарины! И тогда Овсов наверняка поприжихнет!

Но этого сначала надо дожидаться.

Поглядим, кадет Шепелёв, поглядим, – Незачем заранее губы раскатывать.

Директор, между тем, всё глядел на Грегори, и кадет мялся на лестнице, понимая, что просто поворотиться и уйти было бы верхом хамства, а позволения почему-то спросить стеснялся.

Несколько мгновений адмирал разглядывал кадета, потом разомкнул тонкие сухие губы:

– Кадет...

– Кадет Шепелёв, пятая рота, ваше высокопревосходительство! – отрапортовал Грегори, в глубине души которого что-то едва слышно дрогнуло – наказания всё-таки не хотелось.

– Так вот, кадет Шепелёв, пятая рота, – адмирал повёл чуть одутловатым носом, словно принюхиваясь. – Соизвольте избавить меня от своего расхристанного внешнего вида. Как поняли?

– Так точно, ваше высокопревосходительство! – весело рявкнул Грегори и ринулся вниз по лестнице, провожаемый добродушным смешком Петра Кондратьевича.

Остановился только внизу, в фойе.

Теперь было яснее ясного, что на наказание он нарывался от скуки. Влас ещё не вернулся из гостей от Венедикта (Венички, как называл его с оттенком высокомерия за глаза Невзорович), Глеб тоже всё ещё пропадал где-то в городе со своим литовским знакомцем. Оба рыжих Данилевских таскались хвостом за своим старшим дружкой Бухвостовым и сейчас, должно быть, нюхали табачный дым где-нибудь на заднем дворе, у каретного сарая.

А не пора ль сходить на Марсово поле? Ты ж все уши прожужжал своим домашним, как любишь Петров город! А сколько раз бывал на улицах? Вот то-то и оно. А ведь сегодня – парад! Самое время погулять-побродить, благо не запрещено.

Парохода на набережной уже не было, разломали ещё неделю назад, и Грегори только вздохнул, тоскливо и счастливо одновременно, вспоминая свою находку – подарок и впрямь получился на загляденье, поглядеть на него прибегали не только старшие кадеты, а и гардемарины, а уж младшие кадеты только завистливо вздыхали, поглядывая на вытертое серебряное ножен и рукояти.

Разумеется, сейчас кортика у него с собой не было – не хватало ещё такую вещь с собой таскать, чтоб первый встречный патруль или офицер отнял.

Недавно наведённый мост прочно вмёрз в лёд. Караульные солдаты покосились на мальчишку в форме, но не сказали ни слова, пропустили. А вот толпившимся неподалёку *уличникам* один из них тут же погрозил кулаком.

Уже с моста Грегори оглянулся на *уличников*, словно пытаюсь выглядеть среди них кого-нибудь знакомого. Но понапрасну – да и откуда было тут взяться Яшке? Не его места, мальчишек с Обводного на Васильевском наверняка не любят – своих оборванцев хватает. Разве что опять со звездой таскается ряженым. Встретил только неприязненные взгляды и отправился дальше. Впрочем, кадет мальчишки с Васильевского не задевали, считая их своими – места то одни и те же.

На Сенатской площади кадет остановился – людской поток с моста тоже замедлился, столкнулся с другим, притекающим с Конно-Гвардейского бульвара и от Екатерининского канала. Все три площади, Сенатская, Исаакиевская и Адмиралтейская, постепенно густели народом.

Посреди площади, совсем рядом с монументом, высился балаган – островерхая кровля покрыта алой тканью, как бы не настоящим индийским шёлком – ткань трепетала на ветру, хлопала на порывал, словно парус. Около балагана толпился народ, раздавались раскаты хохота – должно быть, в балагане показывали какой-нибудь лубок. Грегори, проходя мимо, прислушался – донесся визгливый голос: «А вот тебе, мусью лягушатник!» – Петрушка в красной рубахе дубасил палкой Наполеона – носатую куклу в синем мундире и шитом золочёными нитками бикорне⁶. Тот уворачивался и басовито вопил, так и не удосужившись высвободить заложенную за отворот мундира правую руку.

Голосили торговки печевом и сбитнем, зазывая покупателей, от пышущих жаром самоваров тянуло теплом и медвяно-травным запахом.

С трудом протолкавшись, кадет прошёл на Дворцовую – здесь было попросторнее. У арки Главного штаба стояли, перегородив проезд, с десяток карет – серебро и золото, воронные, буланые и саврасые, красное дерево и чёрная лакированная кожа, султаны и вальтрапы⁷. И публика гуляла больше чистая, *бульвардье* какого или нищего на Дворцовую площадь полиция не пустит. Да и сам не сунется, по правде-то говоря. На шинель Шепелёва солдаты покосились, совсем, как давешние, на мосту, но точно так же не сказали ни слова.

До Марсова поля он не дошёл самую малость.

Позади глухо хлопнуло, Грегори повернулся в ту сторону – над Дворцовой, Адмиралтейством и Главным штабом с шипением одна за другой взмывали ракеты, гулко лопались в вышине, рассыпая разноцветные огни – причудливые россыпи, вроде виноградных гроздьев, женская фигура с лавровым венком, воин с мечом и в гребнистом шлеме, разноцветная голубиная стая.

– Урааа!!! – прокатилось по толпе. Люди расступались, освобождая проход с Дворцовой, и в проходе этом блеснули вздетые над головами штыки.

Шли солдаты. С Марсова поля идут! – догадался Грегори, и его тут же укололо мгновенное сожаление, что не додумался выйти из корпуса раньше. Не успел! Впрочем, на солдат можно посмотреть и здесь, и сейчас.

Войска шли к Конно-Гвардейскому бульвару, по-прежнему соблюдая строй, отбивали шаг каблуками по брусчатке, цокали подковами и стучали колёсами.

Шёл славный Апшеронский полк, что выстоял при Кунерсдорфе по колено в крови. Шёл Преображенский полк, вынесший на себе все войны России с Петра Великого и дошедший в недавней войне до Парижа. Шли отважные семёновцы, полк, который под Кульмом потерял девять сотен солдат и полковника Андрея Ефимовича. Высекали искры подковами из промёрзшей мостовой лейб-гвардейский Конный и Кавалергардский полки, те, что при Бородине в конном строю в лоб атаковали французскую кирасирскую дивизию Лоржа, за что орденами

⁶ Бикорн – шляпа-двухуголка, чаще всего военная.

⁷ Вальтрап – (из немецкого нем. Waldtrappe), чепрак – суконное покрывало, надеваемое под седло для защиты спины лошади.

были награждены сразу тридцать два офицера. Шёл лейб-гвардии драгунский полк, одиннадцать лет назад топтавший французскую армию при Фер-Шампенуазе и отбивавший подковами дробь по парижским улицам. Грегори невольно задохнулся от восторга – отцовский полк! Невольно взгляд заметался по недвижно замершим солдатским и офицерским лицам – словно кто-то из них мог признать в мальчишке сына своего давнего однополчанина. Глупая надежда! Шёл лейб-гвардии казачий полк – в нём служил дядька Остафий! – такой же славный, как и отцовский – донцы сидели в сёдлах подбоченясь, и пики плыли за их спинами стройными рядами – не шелохнутся!

Мимо проплывали десятки, сотни и роты, полки, батальоны и эскадроны. Блестели штыки – искры горели на их заиндевевших кончиках, ножевым блеском отливали отточенные лезвия обнажённых сабель, вскинутых на плечо, сияли начищенные пуговицы, орлы, кирасы и каски. Горели огнём медные трубы, гремела музыка – Мендельсон, марши гвардейский полков – Преображенского и Семёновского, Измайловского и Финляндского, Егерского и Гренадёрского, Кавалергардского, Кирасирского и Гусарского. Грегори заворожённо стоял на месте, не чувствуя, что его толкают – глаза не в силах были оторваться от овеществлённой военной мощи империи.

Последними с Марсова поля проехала небольшая группа всадников в золочёной форме, с плюмажами и на конях под атласными вальтрапами. Въехав на Дворцовую площадь, они почти все враз повернули к воротам дворца.

Грегори на мгновение застыл, приглядываясь.

Государь?

Государь!

Впереди кавалькады, на белом жеребце, чуть неловко подобрав правую ногу (Грегори вспомнил бродившие по корпусу смутные слухи о прошлогоднем несчастном случае в Бресте-Литовском, когда жеребец командира полка ударил государя подкованным копытом в голень), высился стройный, затянутый в чёрный мундир всадник – бикорн с высоким страусиным плюмажем не шелохнется на голове, золочёные эполеты чуть присыпаны снегом, на вальтрапе тоже снег словно пудра, равнодушное лицо тоже не дрогнет, и только в глазах (Грегори стоял достаточно близко, всего-то каких-то две сажени) чуть тлеет тоска и боль.

Грегори против воли вытянулся, расправляя плечи, руки сами собой одёрнули полы шинели, застегнули пуговицы ворота и поправили фуражку. Праздник праздником, а государь – государем, – мелькнула лихорадочная мысль.

Нет, трепета он не чувствовал. Ни страха, ни благоговения.

Было что-то иное. Какое-то глубинное понимание, что вот этот человек сейчас – это и есть Россия, власть, и вся та сила, которая только что отбивала мимо шаг солдатскими подошвами и конскими копытами, гремела колёсами пушек, может прийти в движение по одному слову этого стройного всадника в чёрном мундире с золотыми эполетами.

Взгляд Александра Павловича на мгновение остановился на фигуре кадета, и Грегори почувствовал, что краснеет. Губы царя вдруг тронула едва заметная улыбка – чуть шевельнулись уголки рта, чуть дрогнули губы, и Александр Павлович вдруг озорно подмигнул мальчишке. А в следующий миг кавалькаду пронесло мимо кадета, она нырнула в дворцовые ворота и скрылась во дворе.

Войска прошли, и толпа снова хлынула, замельтешилась около райка, около устроенного в проходе на Александровский бульвар вертепа, у торговых рядов.

Грегори стащил фуражку и голой рукой обтёр взмокшие волосы, покрутил головой, отыскивая – не видел ли кто?

Не расскажу никому, потому как – кто поверит-то?!

На Петре и Павле празднично затрезвонили колокола – звали к вечерне.

Глава 2. На чужбине

1

Фаэтон⁸ остановился около широкой калитки, прорезанной в высокой ограде: грубая замшелая каменная кладка – вроде бы и старина, и неуклюжая суровость и, одновременно – странное изящество, кольца, вензеля и высокие копыя железной решётки, тяжёлые дубовые доски с медной оковкой. Такую старину Глеб видел раньше в Вильне, в иезуитском коллегииуме – рассказывали, что коллегииум построили ещё в начале пятнадцатого века послы Тевтонского ордена, сразу после Грюнвальда.

Габриэль откинул тяжёлую меховую полость, с наслаждением вдохнул морозный воздух (день был совершенно необычный для Петербурга – безветренный, с лёгким морозцем и пушистым снегом хлопьями), первым выпрыгнул из экипажа, не касаясь ногами откинутой ступеньки (взметнулись широкие полы серой крылатки), легонько хлопнул кучера набалдашником трости по плечу и небрежно бросил, когда тот обернулся:

– Теодор, ты знаешь, где меня ждать.

Кучер согласно качнул аккуратной подстриженной бородой, а Кароляк обернулся к Глебу:

– Чего ж ты ждёшь?

В ответ на слова Кароляка Глеб нерешительно поднялся на ноги, шагнул на ступеньку фаэтона и снова остановился:

– Что-то я сомневаюсь, Габриэль... удобно ли...

– Брось, – улыбнулся Кароляк, и что-то в его улыбке не понравилось Глебу. Впрочем, Невзорович тут же постарался об этом забыть – показалось, да и только. Наверное, прав Габриэль, и Глеб, как всякий провинциал, чрезмерно много думает о том, что удобно, а что неудобно и слишком беспокоится о собственной персоне, только и всего. – Ты же со мной, а я там всегда. И ты таким будешь, когда я тебя там со всеми познакомлю. Идём, не сомневайся! Пани Мария сейчас редко бывает в Петербурге и то, что мы её застали – это невероятное везение! Ты обязательно должен с ней познакомиться!

Тон Кароляка был настолько убедительным и заразительным, что Глеб, наконец, отбросил сомнения.

Вымощенная крупным плоским камнем с неровными краями дорожка, старательно очищенная прислужгой от снега, с обеих сторон обсаженная кустами акации, привела их к широкому крыльцу, сложенному из гранитных плит. С улицы особняк был за кустами и забором почти не виден, и на крыльце Невзорович замедлил шаги, окинул дом взглядом.

Два этажа, не считая цокольного, окна которого утонули в глубоких приямках, каменная облицовка – гранит на цоколе и туф на жилых этажах, высокие окна первого этажа и чуть ниже – второго, черепичная кровля горбится тёмно-бурой чешуёй. Окна ярко освещены, там и сям в них движутся тени. Глеб вдруг снова ощутил себя не в своей тарелке, но Кароляк уже взбежал по ступеням и решительно взялся за дверной молоток.

Обратной дороги не было. Да и зачем она, обратная дорога-то – не этого ли ты и хотел, шляхтич из Невзор – найти здесь, в чужом холодном городе, своих?

На стук молотка дверь незамедлительно распахнулась – пожилой лакей в шитой золотом тёмно-синей ливрее с поклоном отступил в сторону.

– Пан Габриэль, – протянул он. – Приятно видеть вас снова.

⁸ Фаэтон – спортивная открытая карета, запряженная одной или двумя лошадьми, с минимальным, слегка пружинящим кузовом на четырех больших колесах.

– Здравствуй, Франтишек, – небрежно бросил в ответ Кароляк, проходя в прихожую и сбрасывая на руки лакея припорошённую снегом крылатку. Вслед за ней он уронил в готовно подставленную ладонь лакея пятак и обернулся к всё ещё стоящему на пороге Глебу – Невзорович стряхивал с плеч хлопья снега. – Да проходи ж уже, горе моё!

Глеб, обозлившись на себя самого, шагнул в прихожую, позволив Франтишку затворить дверь, торопливо, путаясь в рукавах с досады, стащил шинель и, стараясь не выглядеть рядом с Габриэлем деревенщиной из литовских болот, сунул в руку лакея целый гривенник. Франтишек, впрочем, лицом не выказал совершенно ничего – ни насмешки столичного жителя, пусть и лакея, при встрече с провинциалом, пусть и шляхтичем, ни пренебрежения, довольно часто встречающегося со стороны слуг по отношению к дворянам, имеющим несчастье быть ниже по положению, чем их господин. Что-то вроде удивления мелькнуло в глазах лакея, но Глеб приписал это чувство виду своего мундира – вряд ли в этом доме часто видели форму Морского кадетского корпуса.

Передав в руки Франтишка цилиндр Кароляка и фуражку Невзоровича, приятели двинулись к широкой двери в гостиную, откуда доносились весёлые голоса.

На пороге (на деле никакого порога, разумеется не было, но Невзорович привык за время деревенской жизни в Литве, что в каждой двери должен быть порог) гостиной Глеб невольно приостановился, разглядывая комнату.

Высокий сводчатый потолок, умело расписанный в мавританском стиле, обтянутые нежно-зелёным муаром стены, паркет тёмного дуба, широкая лестница с полированными перилами, там и сям – кресла и диваны. В гостиной можно было бы смело устроить гимнастический зал – по размерам она как раз подходила, была только ненамного меньше гимнастического или танцевального зала корпуса. У камина на широком диване примостились три женщины в шёлковых капотах, около самого камина – двое мужчин во фраках и сюртуках, четверо стояли около небольшого стола с закусками и бутылками, на антресолях ещё двое – мужчина и женщина. Не было видно ни одного мундира. По гостиной словно мушиное гудение носился слитный многоголосый говор, негромкий, почти шёпот, но назойливый, хорошо слышный, но неразборчивый.

В первый момент Глеб растерялся, не понимая, к кому следует подойти в первую очередь, покосился на Кароляка, но Габриэль уже шагнул навстречу идущему к ним юноше, на которого Невзорович и уставился с нескрываемым интересом – юноша показался Глебу его ровесником.

– Да ты возмужал, Ромуальд, – покровительственно сказал Кароляк, пожимая руку подошедшему юноше, и от его снисходительного тона Глеба несколько покорило. Впрочем, он заметил, что и Ромуальду эта манера Кароляка тоже не доставляет большого удовольствия. И Невзорович тут же вспомнил, что ведь и с ним, Глебом, Габриэль говорит точно так же. Может быть, это потому, что он старше? Пусть всего на пять лет, но всё-таки? Но он всё равно пообещал себе, что так или иначе, но постарается пресечь эту злящую его манеру – Габриэль ему не учитель, не наставник и старший офицер роты. И усмехнулся сам себе – быстро же он привык воспринимать русских корпусных офицеров как старших над собой, имеющих право ему приказывать. И года не прошло.

– Познакомься, дружище, – повёл меж тем, рукой Кароляк в сторону Невзоровича. – Это мой хороший приятель, Глеб Невзорович, шляхтич герба Порай из Литвы.

Говорили по-польски.

– Глеб, позволь тебе представить – Ромуальд Шимановский, сын хозяйки дома и старший мужчина в доме сейчас.

В голосе Кароляка помимо покровительства прозвучала вдруг странная, едва заметная насмешка – как раз тогда, когда он назвал Ромуальда старшим мужчиной в доме – так, словно он знал об этой семье что-то потаённое.

Ромуальд нахмурился.

– Рад служить, – торопливо, чтобы замаять возникшую неловкость, пробормотал Невзорович, делая шаг вперёд, и Ромуальду невольно пришлось ответить тем же.

– Глеб... – проговорил он озадаченно. – Это ведь православное имя, не так ли?

– Моя семья принадлежит к греко-католической церкви, – пояснил Невзорович, оттаивая, наконец, от неловкости, и Ромуальд, согласно кивнув, приглашающе повёл рукой в сторону зала:

– Witamy panowie⁹!

– О, я вижу знакомых! – оживился Кароляк, подходя к группе у стола (Глеб неотрывно следовал за ним). – Панове, прошу внимания, хочу представить вам нашего земляка, так же, как и мы, несчастливой судьбой брошенного в этот холодный город – Глеб Невзорович, герба Порай! Отчаянная голова, во время недавнего наводнения спас пятерых москалей и нашего великого Адама Мицкевича, светило нашей литературы!

Раздались одобрительные возгласы, на Невзоровича уставились через монокли и лорнетты, поверх вееров. Глеб вспыхнул, краска залила щёки, стало жарко ушам.

– Собственно, господа, Габриэль преувеличивает, – забормотал он, путаясь в словах под доброжелательными и любопытными взглядами. – Всё было не совсем так... и даже совсем не так...

Он запнулся и умолк. Кругом посмеивались.

– Расскажите же, – предложил, улыбаясь Ромуальд Шимановский.

– На самом деле я был не один, – смущаясь ещё больше ответил Глеб – язык, наконец, перестал быть окостенелым, и речь Глеба обрела связность. – Со мной было двое товарищей...

– Москали? – неприязненно спросил Кароляк, и эта неприязнь вдруг остро уколола душу Глеба. И ведь переспрашивает, хотя сам прекрасно знает, кто со мной был, – подумал Невзорович – он сам рассказал эту историю Кароляку в том трактире на Мойке. Не напрасно ли? Он насупленно кивнул в ответ на слова Габриэля и продолжал:

– Мы действительно помогли выбраться из затопленного подвала нескольким людям корпусной прислуги. А Мицкевича ни я, ни мы не спасали – скорее уж наоборот, и пана Адама и нас с друзьями спасли с постамента лейтенант Завалишин и русские матросы.

Кароляк в ответ на слова Глеба пренебрежительно отмахнулся, словно все возражения Невзоровича не стоили и выеденного яйца, и его по-прежнему следовало считать главным спасителем пана Адама.

Остальные слушали рассказ Глеба с каменными лицами, словно он рассказал бог весть какую скабрёзность, неприличную в приличном обществе. Было видно, что им слова Невзоровича особого удовольствия не доставили. И только двое слушали его с неприкрытым восхищением – сын хозяйки Ромуальд и стоящий рядом с ним сухопарый остроносый мужчина невысокого роста в жемчужно-сером сюртуке – он даже притопывал носком штиблета по паркету в местах рассказа, должно быть, показавшихся ему особо интересными.

Когда Глеб умолк, остроносый порывисто шагнул к нему и протянул руку:

– Браво, юноша, браво! – воскликнул он, не обращая внимания на каменные лица и кислые усмешки окружающих, от которых Глеб чувствовал себя не в своей тарелке, словно он высыпал перед людьми на стол кисет добытого им в разбойничьей пещере золота, а оно оказалось глиняными черепками. Возглас остроносого всё же польстил его самолюбию, утешил. А тот продолжал трясти руку Глеба. – Позвольте представиться – Юзеф Олешкевич!

– Как? – Глеб даже восхищённо попятился.

– Вот как, вы меня знаете? – удивился Олешкевич, уставившись на Невзоровича своими выпуклыми карими глазами, и наконец выпустил его руку. – Но откуда?

⁹ Доброе пожаловать, господа! (польск.).

– Да кто ж вас не знает? – восторженно ответил Глеб. – Тем более, среди виленцев!

Пан Юзеф польщённо улыбнулся, словно вспоминая что-то – должно быть, возникла в памяти виленская юность.

– Да... – протянул он с теплотой. – Виленский университет, *alma mater nostra*... видывал я потом и Париж, и Дрезден, и Петербург вот теперь... но там, в Вильне, я был дома...

От пана Юзефа исходил странноватый запах, едкий и лёгкий, но всё-таки ощутимо заметный, знакомый, но Глеб почему-то никак не мог его опознать.

Но Олешкевича прервали – неожиданно, хотя и не грубо.

Прозвенел весёлый голос – женское меццо-сопрано:

– Однако, господа, я вижу у нас новое лицо...

Сказано было так же по-польски, как и всё остальное в салоне до того. Головы всех, кто был в зале, разом повернулись к лестнице на антресоли. «Мама», – весело выговорил Ромуальд – он не только голову повернул в ту сторону, он поворотился весь, одним цельным движением.

По лестнице спускалась, едва касаясь перил кончиками пальцев... нет, ей богу, фея! Лёгкая, стройная фигура в бледно-зелёном, в тон обивке на стенах, шёлковом капоте с открытыми плечами – глубокое декольте, белые короткие рукава с пуфами, бордовый невесомый берет неизвестно каким чудом держится поверх светлых, с лёгким каштановым оттенком волос, поверх прекрасных покатых плеч – газовая мантилья цвета слоновой кости. Изящные шагреньевые туфельки цокали по ступеням лестницы подбитыми каблучками.

Глеб онемел.

Следом за красавицей неторопливо шла девочка лет двенадцати, одетая точно так, же как и сама хозяйка дома, только декольте в капоте было заменено прямоугольным вырезом. И похожа девочка была на неё в точности – те же ярко-алые губы, те же матовые зубы за ними, тот же точёный обвод лица, те же светлые волосы с каштановым оттенком. Казалось по лестнице за хозяйкой спускается её маленькая копия. Слепой догадался бы, что это мать и дочь. Только глаза у взрослой красавицы были карими, а у маленькой – серыми. Должно быть, в отца глаза удались, – подумалось Глебу, но он даже не обратил внимания на глупость этой очевидной мысли.

– Я слышала, как пан Кароляк представлял вас моим гостям, пан Невзорович, – сказала, улыбаясь, хозяйка дома. – Приятно видеть в моих стенах столь храброго и великодушного юношу. Прошу располагать моим гостеприимством без стеснения. Познакомьтесь (она повела рукой в сторону девочки – дочь стояла на две ступеньки выше матери и с любопытством разглядывала Глеба) – моя младшая дочь, Целина Шимановская.

– Восхищён, – поклонился Глеб. – Восхищён красотой как матушки, так и дочери. Готов быть кавалером...

Слов Глеба были прерваны многочисленными смешками, прокатившимися по залу, и он смутился, сообразив, что в кавалерах у матери и дочери вряд ли есть недостаток.

Смущение разрядилось, когда Олешкевич весело воскликнул:

– Пани Мария, может быть, вы сыграете нам какое-нибудь своё новое сочинение?! Я думаю, несправедливо, что в Германии, Швейцарии и Италии их уже слышали, а мы, ваши земляки в чужом городе – ещё нет!

Окружающие приветственно зашумели, захлопали в ладоши – слова пана Юзефа понравились всем.

Шимановская не стала жеманиться и отнекиваться – видно было, что музыка для неё – истинное удовольствие. Она неторопливо прошла к стоящему в углу зала фортепиано, откинула крышку, взяла несколько нот и удовлетворённо кивнула – настраивать инструмент не требовалось. Кароляк торопливо подставил к фортепиано табурет, пани Мария присела и бросила пальцы на клавиши.

Музыка плыла по залу, а Глеб вдруг вспомнил урок в корпусе, когда кадеты танцевали под полонез Огинского. За окнами в свинцовых переплётках наваливалась на город синими сумерками сырая питерская зима, а ему казалось, что там на самом деле – леса и болота, подёрнутые пеленой зимней литовской вьюги.

В корпус Глеб возвращался уже в полной темноте. В фонарях плясали бледно-жёлтые языки масляного пламени, на площадях горели костры, сложенные из обломков брёвен (остатки разрушенных недавним наводнением кораблей и домов) – погреться запоздалому прохожему в сильный мороз. Цокали копыта по мёрзлой заснеженной мостовой, фаэтон покачивало на булыжниках брусчатки, кучера покачивало в такт.

У въезда на Исаакиевский мост Невзорович повернулся лицом к Кароляку, который зябко кутался в меховую полость.

– Спасибо, – серьёзно сказал Глеб. – Очень интересные и приятные люди.

– Особенно пани Мария и панна Целина? – поддел Габриэль.

– Не без того, – согласился Невзорович смущённо и весело. – Но и пан Олешкевич... и другие...

– То ли ещё будет, дружище, то ли ещё будет, – загадочно пообещал Габриэль.

2

Котёнок был худой и неприглядный. Короткая серая в тёмную полоску шерсть свалась и торчала клочьями, прикрывая там и сям небольшие пятнышки лишая. Он жался в углу парадного, крупно дрожал (в парадном было холодно – печи, должно быть, были не топлены с утра), глядел на людей круглыми испуганными глазами и пискляво мяукал.

– Опять подкинули, – сказал Габриэль, остановившись перед лестницей. В голосе его послышалась усмешка, и Глеб, тоже остановившись, посмотрел сначала на котёнка – сочувственно, потом на Кароляка – удивлённо, не понимая насмешки в его словах.

– Опять? – переспросил он.

– Поймёшь, – немногословно ответил Габриэль, поднимаясь на одну ступеньку. – Идём, чего остановился?

– А котёнок как же? – мигнул Невзорович в недоумении.

– Не беспокойся, о нём найдётся кому позаботиться, – сказал Габриэль всё с той же улыбкой, которая, между тем, нравилась Глебу всё меньше и меньше. Но он тут же задавил в себе это мгновенное чувство – пан Адам отзывался о Кароляке хорошо, значит, его, Глеба, впечатления – дело десятое. Наносное. То, что должно исчезнуть при дальнейшем знакомстве.

По лестнице поднимались не спеша.

– Мы не позвонили в дверь, – вспомнил вдруг Глеб, приостанавливаясь на очередной ступеньке, но Кароляк только отмахнулся:

– Не надо. Пан Юзеф не любит церемоний и всегда настаивает, чтобы заходили попросту.

– Пан Юзеф – интересный человек, – сказал Глеб задумчиво, вспоминая знакомство с Олешкевичем в салоне Марии Шимановской.

– Чрезвычайно, – охотно согласился Габриэль, и на этот раз в его улыбки не было ни тени насмешки, так не нравившейся Невзоровичу. – Ты, наверное, не слышал, но он предсказал наводнение, то самое, время которого ты со своими друзьями-москалями совершили столько подвигов.

Насмешка проснулась опять, но на этот раз она была незлая, и Глеб не стал обижаться. Да и к чему – не хотел же ведь Габриэль на самом деле посмеяться над ним или его оскорбить. Не с чего же?

– Каким образом? – несколько оторопело спросил Глеб, пытаясь догнать широко шагавшего со ступеньки на ступеньку Габриэля. Тот в ответ только молча пожал плечами – должно быть, и сам не знал, каким образом Олешкевичу удалось такое.

В бельэтаже Кароляк остановился перед тяжёлой даже на вид дверью в квартиру, поджидая чуть отставшего от него Невзоровича и предупредил вполголоса:

– Только ничему не удивляйся... так надо.

– Чему? – не понял Невзорович.

– Поймёшь, – опять сказал Кароляк, отворяя дверь. Мелодично звякнул колокольчик, Глеб перешагнул порог вслед за Габриэлем и оказался в просторной прихожей с арабской росписью на белёных стенах.

И едва не зажал нос.

По всей квартире слоями густо плавал острый запах, тот самый, который так поразил Глеба в салоне Шимановской – так пахло тогда от Олешкевича, но сейчас запах был гораздо сильнее. Глеб покосился на Габриэля, но лицо приятеля было невозмутимым, хоть и нос сам по себе, против воли, чуть морщился – запах Кароляку был неприятен, но явно привычен.

И тут Глеб догадался.

Котёнок!

Но сказать он ничего не успел.

Отворилась дверь в боковушку, и в прихожей возникла женщина – ширококостная, тучная и низкорослая, в неряшливо перевязанном под грудью салопе¹⁰ и потрёпанном переднике, с несколькими седыми волосками над верхней губой и тёмно-малиновой бородавкой на полной левой щеке.

Экономка?

– А, пан Гавриил – приветливо протянула она по-русски хриплым, почти мужским голосом. – Добро пожаловать, добро пожаловать. И незнакомый панич...

Экономка вопросительно уставилась на Глеба водянисто-голубыми глазами, одновременно ухитрившись принять сброшенную Кароляком ей на руки крылатку.

– Здравствуй, Фёкла, – приветливо сказал Габриэль, привычно поморщившись, впрочем, на «Гавриила». – Это пан Глеб, из наших же, теперь, должно быть, станет бывать здесь не редко, и наверняка и без меня даже. Дома ль господин?

– Да, дома, работает с самого утра, – охотно откликнулась Фёкла, принимая шинель с плеч Невзоровича. – Но если кто придёт, велел немедля ставить самовар...

– Никого нет ещё? – осведомился Габриэль почти по-хозяйски. Впрочем, по нему было видно, что он в этом доме не впервые и чувствует себя действительно, как дома.

– Да пока что вы первые, господа, – охотно отвечала Фёкла.

На пороге боковушки за её спиной возникло сразу три кошки – серая, чёрная и трёхшерстная, уселись на пол с обеих сторон порога и уставились на гостей – требовательно и внимательно. Ну да, так и есть, – уверился Глеб. – Пристанище кошек, вот откуда такой запах. Ничуть не удивлюсь, если тут помимо этих трёх кошек (всё-таки кошек, а не котов!) есть ещё три-четыре, да ещё и котов пара штук. Кароляк, заметив, куда смотрит Глеб, усмехнулся опять всё той же усмешкой и сказал экономке, кривя губы:

– Фёкла, там на лестнице, в парадном, котёнка подбросили...

– Охти мне! – всплеснула руками экономка, заметалась, пристраивая крылатку и шинель гостей на обшарпанную вешалку в углу. – Да вы проходите, господа, проходите, барин ждёт.

¹⁰ Салоп – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами; скреплялась лентами или шнурами.

И почти тут же вынырнула за дверь на лестницу. Трёхшёрстная кошка выскочила следом, а к серой и чёрной на пороге добавилась ещё одна, дымчатая, одноглазая, вцепилась золотистым глазом в приятели.

– И много в этом доме кошек? – спросил Глеб, покачивая головой.

– Двенадцать, – пренебрежительно фыркнул Габриэль, словно сказал: «Экая глупость!». – Постоянных – двенадцать, а так и больше бывает. Видишь вот сам – подкинули опять котёнка. Поражаюсь, как его Шимановская принимает – она кошек терпеть не может, и кошачьего запаха не выносит...

Он решительно толкнул ещё одну боковую дверь, напротив той, что вела в комнату Фёклы (Глеб успел заметить, что из прихожей, помимо этой двери вела ещё одна, высокая двустворчатая, крашенная светло-голубой краской, с медными ярко начищенными ручками в форме львиных голов на филенках), и шагнул через порог в просторную светлую комнату:

– Дзень добжи, пане Юзеф!

Глеб шагнул следом и остановился около порога, поражённый новой обонятельной гаммой и внутренним видом комнаты. В густой насыщенный гамме запах кошек мешался с запахами масляной краски и скипидара. Там и сям по полупустому залу с голыми белёными стенами были разбросаны обрывки картона и сломанные кисти, у низкого подоконника, за которым виднелся широкий проспект, лежала разбитая палитра, вымазанная краской в такой небывалой радужной смеси, что рябило в глазах. В углу стояли, наваленные друг на друга грудой холсты в подрамниках.

Мастерская художника, – понял Невзорович.

Сам хозяин во всём этом хаосе, где не было почти никакой мебели, кроме небольшой козетки в углу, был даже не сразу заметен. Но когда Глеб его увидел, то удивился, как не заметил его сразу.

Середину комнаты занимал высокий мольберт с взгромождённым на него большим холстом тыльной стороной к двери, в которую вошли Невзорович и Кароляк. Из-за мольберта на скрип двери (петли скрипнули довольно громко, видно было, что в доме художника давно не смазывали дверей – Глеб мгновенно вспомнил, что и входная дверь из парадного тоже скрипнула, и тоже достаточно заметно, но он почему-то не обратил на это внимания, озадаченный загадкой котёнка) выглянул Олешкевич – в домашнем халате и турецких бабушах, на голове сбит набок плоский чёрный берет, из-под которого торчат всклокоченные волосы. Видно было, что художник гостей не ждал, но Кароляка это не смутило ни на мгновение. Олешкевича, впрочем, тоже.

– А! – радостно воскликнул он, отшвыривая в сторону измазанную краской кисть – от неё на паркете осталось размазанное ультрамариновое пятно. – Габриэль! Глеб! Добро пожаловать!

– Что-то пишете, пан Юзеф? – любопытствовал Невзорович, попытавшись заглянуть за мольберт, но Олешкевич торопливо закинул холст непрозрачной занавесью:

– Потом, потом! – засмеялся он хрипловато и весело. – Вот закончу, тогда – добро пожаловать, смотрите, ругайте, хвалите, критикуйте и любуйтесь – как вам это будет угодно. А пока что – прошу в гостиную!

Гостиная Олешкевича была ненамного богаче, чем мастерская – два потрёпанных дивана, козетка и глубокое кресло и несколько стульев с выгнутыми спинками и подлокотниками, потускневшая шёлковая обивка стен, когда-то малахитово-зелёная, а теперь выцветшая и бледная. Из закопчённого камина с чуть погнутой решёткой ошутимо тянуло дымом, но теплом и не пахло. Должно быть, художник что-то в нём жёг – определённо не дрова. Бумаги какие-нибудь, сумрачно подумал Глеб, оглядываясь по сторонам. Рядом с камином громоздилось английское бюро с откидной столешницей, запёртое на ключ, наверху которого высился мраморный бюст Наполеона. На бледном зелёном шёлке стен ещё можно было заметить следы

старинной позолоты, вензеля и сплетения золотистых полос. За покрытыми инеем стёклами высоких окон угадывался укутанный в снеговые шубы небольшой сад – по соседству с доходным домом стоял чей-то особняк. В отворённую форточку ощутимо тянуло морозом, но ни Глеб, ни Габриэль и не подумали её притворить – так хоть каким-то образом можно было ослабить запах красок и кошек.

Кароляк упал в кресло, закинул ногу на ногу.

– Что, брат, не ждал такого? – весело и чуть развязно спросил он. – Небогато живёт в Петербурге наш брат литвин да поляк, небогато...

Невзорович смущённо покосился в сторону двери – не услышал бы хозяин. Проводив гостей в зал, Олешкевич снова исчез в мастерской – обещал, что скоро присоединится к ним.

– Брось, – понял Глеба Кароляк. – Он не слышит. А и услышит, так не обидится. На правду не обижаются...

– Но даже в этом случае не стоит никого обижать этой правдой, – раздался от порога незнакомый голос. Вздвогнув, Глеб обернулся к дверям, отметив про себя, что на этот раз не скрипнула ни одна петля. То ли на эту дверь масла всё-таки достало, то ли человек, который сейчас стоял в дверях, умел перемещаться и отворять двери бесшумно.

Мужчина.

Высокого роста, кудрявые тёмно-каштановые волосы, прямой нос с чуть заметной горбинкой, бакенбарды, русский светло-серый мундир, эполеты чёрнёного серебра с двумя небольшими звёздочками в середине. Коллежский ассессор? Майор? Пожалуй, всё-таки статский, коллежский ассессор, – решил про себя Глеб, разглядывая незнакомца, – военных он давно привык распознавать.

Вновь прибывший был явно старше обоих, и Габриэля, и Глеба, хотя и ненамного – лет двадцать пять ему, пожалуй, было.

– Баа! – неприятным тоном провозгласил Кароляк при виде незнакомца, но с места встать не спешил. – Пан Юзеф!..

Сначала Глеб предположил, что приятель зовёт Олешкевича, который отчего-то задерживался, но тут же понял, что Кароляк обращается к незнакомцу. Ещё один пан Юзеф? – молча удивился Невзорович, не сводя с незнакомца глаз.

– Осип Антонович, – вёдливо поправил тот. – Зови уж так... а то твой юный друг (он чуть склонил голову в сторону Невзоровича) ещё станет на первых порах путать меня с нашим дорогим хозяином, а я для этого талантом не вышел, увы...

По-польски он, несмотря на русское имя и отчество, говорил отлично, сразу было видно, что язык он знает с рождения.

Глеб чуть улыбнулся. Юзеф-Осип Антонович ему понравился, несмотря на неприкрытую антипатию к нему Кароляка.

– Всё в Феликса Броньского играть продолжаешь? – неприязненно сказал Габриэль, вцепившись пальцами в подлокотники кресла – вот-вот казалось, пальцы Кароляка прорвут муар обивки, и из-под неё полезут грязные внутренности кресла. Незнакомец чуть дёрнул уголком рта. Должно быть, эта история с двумя мундирами слонимского подпрефекта, которые тот передевал когда власть в городе менялась с русской на французскую или обратно, была известна и ему. Как и успевал-то? – восхитился в своё время Глеб, услышав рассказ об этом от отца. Небось в запасе с собой таскал, как увидит, что власть меняется, так в нужник и бежал передеваться, на ходу меняя шляпу! – Долго так собираешься передеваться? На двух стульях не усидишь, всё равно выбрать придётся...

– Я, как ты наверное, заметил, не передеваюсь, – медленно проговорил Осип Антонович. – Моя служба всегда одинакова... давно выбрал.

Глеб только вертел головой от одного к другому, пытаясь понять, о чём говорит его приятель и этот неизвестный гость Олешкевича. Тут, на счастье, в дверях появился хозяин – теперь

он уже выглядел вполне презентабельно – в серо-голубом сюртуке и тёмно-серых панталонах, причёсанный и побритый – и не скажешь, что всего четверть часа назад волосы дыбом стояли.

– Осип Антонович! – восторженно воскликнул он, увидев незнакомца. – Душа моя, да что ж вы стоите? А вы что же, Габриэль, даже не представили нашего юного друга и пана Осипа?

Невзорович перевёл дух – при появлении Олешкевича Кароляк чуть расслабился, выпустил подлокотники, хотя острые желваки по-прежнему ходили по его челюсти. А Глеб уже начал опасаться, что разговор вот-вот закончится дракой, а то и того хуже – дуэлью. В воздухе ощутимо пахло серьёзной ссорой.

– Пан Габриэль, немедленно прекратите ссориться с нашим дорогим коллежским асессором (Глеб почувствовал удовлетворение – угадал!). Прошу, Осип Антонович, знакомьтесь, Глеб Невзорович из Литвы, шляхтич герба Порай. Глеб, это Юзеф Эммануэль Пржецлавский, или как он больше предпочитает – Осип Антонович Пржецлавский, шляхтич герба Глаубич Слонимского повята...

Неудивительно, что Габриэль пытался уколоть Пржецлавского именем Броньского – слонимский подпрефект был земляком петербургского коллежского асессора, – подумал Глеб, раскланиваясь с Пржецлавским. А Олешкевич продолжал:

– Он служит при русском министерстве иностранных дел секретарём.
«Дипломат», – была первая мысль. А за ней и вторая: «Почти шпион».

3

Пржецлавский пробыл у художника недолго, перемолвившись с ним только несколькими словами – то ли его смутила враждебность Кароляка, то ли у него было к Олешкевичу какое-то приватное дело, которое он не счёл нужным обсуждать в присутствии юношей, одного мало-знакомого, другого – враждебного. В любом случае, дипломат, проведя с полчаса в гостиной в светской беседе, безукоризненно вежливой и совершенно бессодержательной, откланялся и ушёл.

Вскоре после его ухода Фёкла позвала пить чай – ведёрный медный самовар в столовой пыхал жаром, начищенный как огонь. На столе громоздились рядами вазочки с китайским сахаром, русским медовым вареньем – клубничным, вишнёвым, калиновым, брусничным и клюквенным, печатные тульские пряники соседствовали с пражскими рогаликами и парижскими круассанами, рейнвейн и мозельское шипело в бокалах. Богатый стол совершенно не сочетался с бедной обстановкой квартиры Олешкевича, но это никого не смущало, и Глеб тоже решил не удивляться.

Разговаривали они за столом о том же, о чём до того говорили с Пржецлавским – обо всём сразу и ни о чём. Однако Глеб инстинктивно чувствовал, что на этот раз разговор имеет какую-то тему, но не мог – понять какую – в словах Кароляка и Олешкевича то и дело проскальзывали какие-то намёки, обычные вроде бы безобидные слова звучали так многозначительно, что ему оставалось только ломать голову над тем, что хотелось сказать его собеседникам.

Говорили по-польски, иногда переходя на французский – и тем, и другим языками в равной мере владели и Олешкевич, и Кароляк, и Глеб.

– Так, стало быть, ваше имение по Виленской губернии? – взгляд Олешкевича, пожалуй, мог бы сравняться прозрачностью и пронзительностью с солнечными лучами, рвущимися в пасмурный день сквозь облака, когда потоками света солнце падает на лес или поле.

– Да, пан Юзеф, – Глеб чуть склонил голову. – Мы живём по Витебской губернии... и всего год назад я учился в виленской гимназии..

– Пан – католик? – во взгляде пана Юзефа внезапно прорезалось что-то такое, от чего мороз продрал по коже. Ощущение было такое, словно Олешкевич видел Глеба насквозь, вме-

сте с тем, Невзорович ощущал что-то странное – словно и Кароляк, и художник от него что-то скрывали.

– Пан – униат, – сумрачно ответил Глеб. Скорее всего, в питерской диаспоре Польши и Литвы говорить такое не полагалось, считалось делом неприличным и грубым, но ему было уже наплевать – навязли в зубах околичности и оговорки. – Пан чтит и митрополита Серафима, и папу Льва XII-го... и пану высочайше наплевать на тонкости вероучения...

Глеб остановился – собеседники смеялись. Кароляк ухмылялся добродушно, словно услышал что-то такое, что обычно говорят во всеулышание дети, а Олешкевич – тот только сдержанно усмехался, словно Глеб заявил во всеулышание какую-то глупость, недостойную того, чтобы на неё обращать внимание.

В гостиную, словно топоча ногами, ворвались два кота – серый и рыжий, сцепились и покатались под стол с прерывистым пронзительным мявом.

– Молодость, – обронил художник так, что у Невзоровича пропало всякое желание спорить, прекословить и обижаться. Олешкевич наклонился, поднял с пола за шкуру рыжего кота, усадил к себе на колени, погладил по загривку. Кот немедленно заурчал, прижмурившись и принялся когтить колено хозяина, не забывая, впрочем, коситься на серого, который тёрся о ногу художника, выгибая спину высокой дугой. – Молодость – время горячности, время поспешных решений... пан определённо причисляет себя к униатам?

Глеб на мгновение запнулся (висело всё-таки над душой что-то такое, что словно шептало – обыграет тебя пан Юзеф! а только и выиграть хотелось чрезвычайно!), и всё-таки заносчиво бросил в ответ:

– Определённо, пан Юзеф!

И отвёл глаза – слишком уж лицо пана Олешкевича было таким... у Глеба не было слов, чтобы описать его выражение. Ощущение было таким, словно пан Юзеф ждал от него чего-то другого – убей его бог, но Невзорович не мог представить, чего ждал от него художник.

– Тоже неплохо, – бесцветным голосом сказал художник, так, словно ожидал от Невзоровича чего-то невероятно большего, чем прозвучало в словах панича из Невзор. Глаза его внезапно повернулись в сторону Глеба, остановились на нём – Невзоровичу вдруг показалось, что взгляд художника вот-вот проникнет в самые глубины его души. На мгновение. Не больше. – Униатская церковь, как впрочем, и православная, и даже лютеранская и кальвинистская, ничуть не меньше, чем католическая достойна приобщения к истине...

На то же самое мгновение Невзоровичу показалось, что вот сейчас Олешкевич добавит что-то такое, что покажет ему, шляхтичу из Невзор и Волколаты способ стать кем-то не тем, кто он есть на самом деле.

На миг.

Потом Олешкевич и Кароляк встретились глазами, и художник на какое-то мгновение прикрыл глаза, словно согласился с чем-то незримым, таким, чего не видел ни Глеб, ни Габриэль.

Впрочем, точно ли Габриэль не видел?

Невзорович стоял лицом к окну – там, на питерской перспективе, прямой, словно вычерченной по линейке (так, впрочем, оно и было) стыл морозный северный день.

Правда видно было не много – стёкла внешних рам густо закуржавели, только посредине в самых больших из них оставалось едва подёрнутые инеем полупрозрачные озёрца чистого стекла.

Что-то коснулось ноги Глеба, мальчишка опустил голову – рыжий кот прошёлся мимо ноги, потёрся выгнутой спиной. В этом мгновенном движении Невзорович успел уловить что-то мимолётное в стекле – Олешкевич и Кароляк за его спиной обменялись быстрыми жестами.

Непонятными жестами.

Оборачиваться он не стал – раз они друг другу что-то показывают за его спиной, значит, не хотят, чтобы он это видел. Ну, значит, он и не видел.

Потом Олешкевич поднялся, подошёл к нему и остановился рядом. Несколько мгновений смотрел в окно. Вздыхнул.

– Удивительный город, – пробормотал он, чуть поёжившись. – Словно воплощённая мечта Великого Зодчего...

Габриэль за их спинами вздрогнул – Невзорович видел это отчётливо. Сам же Глеб, решив не обращать внимания на странности старшего приятеля, только поднял брови:

– Пан Мицкевич считает иначе...

– Вот как? – неожиданно заинтересовался Олешкевич, поворачиваясь к Глебу. – И что же он говорил?

– Вавилоном называл, – тепло улыбнулся Глеб, вспоминая наводнение и растрёпанную фигуру Мицкевича на постаменте Медного всадника. – Говорил, что слишком упорядоченный, слишком строгий. Слишком северный и холодный. Слишком мрачный. Словно русский азиатский деспотизм.

Губы художника тронула улыбка.

– Пан Адам – большой талант, но тут нужно быть скорее художником, а пан Адам – поэт. Впрочем, он не одинок в своём мнении... вот послушай:

*Звучит на башне медь – час ночи,
Во мраке стонет томный глас.
Все спят – прядут лишь парки тощи,
Ах, гроба ночь покрыла нас.*

Голос Олешкевича звучал торжественно, но русская речь после того, как за столом звучала только польская и французская, вдруг показалась Глебу почти незнакомой.

*Сон мертвый с дикими мечтами
Во тьме над кровами парит,
Шумит пушистыми крылами,
И с крыл зернистый мак летит.*

*Верьхи Петрополя златые
Как бы колеблются средь снов,
Там стонут птицы роковые,
Сидя на высоте крестов.*

*Так меж собой на тверди бьются
Столпы багровою стеной,
То разбегутся, то сопрутся
И сыплют молний треск глухой.*

*Звезда Полярна над столпами
Задумчиво сквозь пар глядит;
Не движась с прочими полками,
На оси золотой дрожит.*

– Кто это сочинил? – очарованно спросил Глеб, и губы Олешкевича вновь тронула улыбка.

– Семён Бобров, замечательный русский поэт, не оценённый соотечественниками... как видишь, не только поляку Петербург кажется мрачным и зловещим.

– Но не вам? – полуутвердительно спросил Невзорович.

Пан Юзеф покачал головой.

– Этот город прекрасен, Глеб... им мог бы гордиться сам великий Хирам Абифф, если бы ему довелось строить Петербург.

Габриэль снова вздрогнул, и Невзорович снова не обратил на это внимания.

– Кто это – Хирам?

– Великий Зодчий, – мечтательно ответил Олешкевич, чуть прищурив глаза и вглядываясь в очертания города за замёрзшим окном. – Строитель храма Соломона в Иерусалиме...

– Но он жил... – начал Глеб.

– Три тысячи лет назад, – пожал плечами пан Юзеф. – Его детище было чудом зодческого искусства, об этом сказано во всех старинных манускриптах. К сожалению, мы не знаем, как выглядел этот храм... да и Хирам не построил больше ничего – его убили. И только его ученики и подмастерья сохранили память об этом сквозь века.

Олешкевич шевельнул плечом, словно давая знать, что не хочет больше говорить об этом, и Глеб смолк, хотя и успел заметить, как облегчённо перевёл дух Кароляк, словно художник только что едва не рассказал Глебу что-то важное и тайное, такое, чего ему, мальчишке, знать пока не полагалось.

Дверь парадного примёрзла, и Глебу пришлось налечь на неё изо всех сил, чтобы она, с треском оторвавшись от придверин, наконец, отворилась. Сырой питерский морозец сразу ухватил за уши, и Глеб, приостановясь на широко расчищенной дворником дорожке от парадного к тротуару, обернулся к выходящему из парадного Габриэлю и потёр ухо перчаткой, чуть сдвинув фуражку набок.

– Холодно, – пожаловался он, улыбаясь, и Габриэль кивнул.

– Холодно, – серьёзно подтвердил он.

Репетир на часах Кароляка прозвенел три часа дня.

В этот миг откуда-то из-за дома донеслись вопли – пронзительный женский визг и пьяная мужская ругань. Невзорович вздрогнул и удивлённо покосился на угол дома, ожидая, что со двора вот-вот появится пьяная компания, но никто не появился, а крики продолжались.

– Что это? – удивлённо спросил Глеб, вслушиваясь, и на мгновение забыл даже о морозе.

– Где? – не понял Габриэль, поглубже натягивая цилиндр – европейская шляпа плохо грела голову.

– Вот эти крики, – пояснил Невзорович, вслушиваясь и потирая второе ухо.

– А, не обращай внимания, – махнул рукой Кароляк и криво усмехнулся. – В этом доме на первом этаже непорядочный дом, вход со двора... рубль с полтиной за час... – в его голосе слышалась быстро нарастающая горечь. – Так и живёт наш великий художник... рядом с курвёшником...

– Бордель, что ли? – не враз понял Глеб, быстро краснея, словно его макнули лицом в кипяток.

– Ну да, – ответил Габриэль как о само собой разумеющемся, покосился на Глеба и рассмеялся. – Да ты, я смотрю, живой бабы и не нюхал ещё, шляхтич... неужели ни одной доступной холопки поблизости не оказалось в Волколоте или в Невзорах, а?

Глеб молчал, насупившись, щёки и уши полыхали. Хорошо хоть, мороз из-за этого не чувствовался.

– Ну ничего, мы это поправим, не стесняйся, как паненка перед гусаром, – сально ухмыляясь, сказал Габриэль, и Глеб смутился окончательно, даже в глазах защипало. От досады на себя и на Кароляка он готов был уже броситься на Габриэля с кулаками, но тот, уже не обра-

щая внимания на Невзоровича, вдруг махнул рукой кому-то за его спиной. Глеб обернулся – фаэтон Кароляка уже остановился около тротуара, Теодор ёжился на облучке, кутаясь в тёплый русский тулуп.

– Он чувствует, что ли, когда ты выйдешь? – удивился Глеб, торопливо шагая к экипажу вслед за Габриэлем. Тот, посмеиваясь, покачал головой, стряхнул с цилиндра редкие снежинки – день был холодный, безветренный и малоснежный.

– У меня договорено с ним было, чтобы он в это время подъехал, – пояснил Габриэль, хватаясь за поручень фаэтона и распахивая дверцу.

– У твоего слуги есть часы? – удивление всё ещё не прошло, а вот вся злость на Кароляка вдруг куда-то подевалась. Глеб сказал себе, что Габриэль старше его, и он, Глеб, может быть, просто не понимает сурового мужского юмора, видимо, в мужских компаниях так и должно быть...

– Нет, но он сидел всё это время в трактире, где есть часы, – пояснил Габриэль, покровительственно улыбаясь.

Шляхтичи один за другим вскочили в экипаж и упали на обшитою порыжелой от старости кожей сиденье. Теодор обернулся к ним лицом и проговорил наставительным тоном, протягивая свёрнутую медвежью шкуру:

– Прикройтесь, панове, сегодня мороз.

– Мороз, Теодор, мороз, – согласился Кароляк, кутаясь в полость.

Шляхтичи прижались друг к другу на морозе, и фаэтон тронулся, чуть поскрипывая колёсами.

– Колёса скрипят, Теодор, – недовольно сказал Кароляк немедленно.

– Скрипят, пан, прошу прощения, – отозвался кучер виновато. – Завтра же поправим это дело.

Под неторопливый и незлобивый разговор Габриэля с кучером Глеб задумался о странностях сегодняшнего дня.

Они провели у Олешкевича почти четыре часа, и Глеб так и не мог понять, зачем они туда приходили.

Увидеться с Олешкевичем?

Попить у художника чай?

Поссориться с Пржецлавским?

Он не понимал.

Невзорович покосился на Габриэля – Кароляк уселся на господском сиденье фаэтона, кутаясь в просторную медвежью полость (питерский мороз забирался и под неё, а уж тем более, под щегольский цилиндр Габриэля), и тут же чуть тряхнул головой – а прав ли он в своих подозрениях? Не на пустой ли след оглядывается?

Но он не мог отделаться от ощущения, что не его познакомили с нужными людьми, а нужным людям *показали* его.

– О чём задумался, пан Невзорович? – Габриэль весело толкнул Глеба в плечо под медвежьей шкурой, словно почуяв сомнения. приятеля.

– Интересный был день, – медленно ответил Глеб, и Кароляк тут же подхватил:

– Да, и как твои впечатления от пана Юзефа? По-прежнему считаешь его интересным человеком?

– Ты про Олешкевича?

– Ну не про Пржецлавского же, – поморщился Габриэль. – Какой он пан Юзеф? Он действительно Осип уже, самый настоящий Осип.

В голосе Габриэля явственно прозвучала неприязнь, почти ненависть, та, что ещё утром удивила Невзоровича, и Глеб наконец спросил:

– А с чего ты к Пржецлавскому так... будто он твою любимую пасеку вывез и тебя без мёда оставил?

– Ты не шути такими вещами, – медленно и тяжело выговорил Кароляк. – Ты его мундир видел? Мы тут в этом городе... воплощённой ледяной мечте взбесившегося геометра, что бы там ни говорил Олешкевич... мы просто живём. Кто-то – потому что тут есть приличное общество, кто-то – потому что так деспот велел... а Пржецлавский – тот служит! Царю служит, тирану! Пусть не на военной службе, пусть на статской – это всё равно!

– Я ведь тоже буду служить, – задумчиво сказал Глеб.

– Ты – дело иное, – пожал плечами Габриэль. – Тебя опекун твой вынудил, к тому же ты и тут сумел вывернуться... к тому же, когда станешь полнолетним, ты можешь и не служить. А Пржецлавский – он сам так захотел! Ну ничего, погоди, придёт время...

Кароляк осёкся, словно наговорил лишнего, покосился на Глеба – тот молчал, словно не обратил внимания на оговорку приятеля.

Глава 3. Дно

1

Рождественский бал так и не состоялся, петербургскому свету было не до того – хоронили утонувших в наводнении, чинили порушенные водой дома, вставляли выбитые стёкла, навешивали двери и ворота, скалывали и выносили из подвалов зеленоватый лёд, разбирали выброшенные на берега корабли.

Но вскоре после рождества (во дворе корпуса жгли фальшфейеры, гулко падали пушки в Крепости на Заячьем и на Кронверке, воспитанники, толпясь у окон, заморожено смотрели на Большую Неву, где над коряво дыбачимся льдом взлетали и лопались фейерверки) по корпусу пронёсся слух, что на новый год бал всё-таки состоится. Старшие кадеты и гардемарины посмеивались над младшими: «Гляди, *баклажка*, как девчонку в руки впервой ухватишь, так не забудь, что танцевать собрался, а не шупать или ещё чего...». Младшие отмахивались и густо краснели, а у самих сердце замирало – многие из них, особенно провинциалы вроде Грегори или такие, как Влас, новодельные дворяне, на балах бывали редко, а то и вовсе никогда, и этот новогодний бал, первый в 1825 году, для них был первым вообще.

С самого утра субботы в большом танцевальном зале корпуса раздавался хрипловатый и звонкий рёв труб – музыканты в строгой униформе, похожие на гвардейских офицеров, пробовали свои инструменты, взяв их в руки впервые после наводнения. В этом рёве и грохоте барабанов вразнобой, терялся мелодичный плач гобоев и тоскливый плач скрипок. Наконец, когда каждый проверил свой инструмент, музыканты разобрались и выстроились на возвышении вдоль стены (кадетам было прекрасно всё видно сквозь распахнутую дверь – они толпились в небольшом коридорчике-закутке), дирижёр взмахнул палочкой, и геликон выдул первую хрипловато-протяжную ноту.

– Симфония №8, Франц Шуберт, – заморожено прошептал Глеб, блестя глазами. Грегори недоволен, как всегда, когда Глеб проявлял своё всезнайство, покосился на него, но смолчал.

– Это что, мы под это будем танцевать? – с лёгким страхом спросил Влас.

Трое друзей стояли у самой двери в зал, сумев пробиться в первый ряд – в затылок им дышали другие *баклажки*.

– А что ж, вполне возможно, – хладнокровно бросил Глеб. Для него этот бал не был первым, и шляхтич волновался гораздо меньше остальных кадет-первогодков.

Гости начали съезжаться в Корпус ближе к полудню.

Останавливались кареты, выпускающая из холодных, обшитых кожей и бархатом недр укутанных мехом девочек и девушек, взрослых дам и дебелых матрон. Подкатывали фаэтоны и ландо, с подножек которых вальяжно спускались щёголи и франты в распахнутых шубах, цилиндрах и боливахах, брезгливо ворошили носками штиблет неприятанный снег на брусчатке. С извозчичьих пролёток молодцевато спрыгивали офицеры флота, поправляли на головах бикорны и стряхивали с эполет считанные снежинки – день выдался малоснежный и морозный.

Корпус наполнился гудением и говором. В печках дружно гудело пламя, изразцы излучали тепло, над кровлями корпуса поднялись полупрозрачные дымные столбы.

Гардемарины прифранчивались. Стряхивали с мундиров и фуражек мельчайшие частички пыли, начищали суконкой до блеска пуговицы и кокарды (денщики гардемаринам

были не положены, и все работы приходилось делать самим), наводили чёрный глянец на штроблеты.

Глядя на них, тянулись наводить глянец и кадеты – старшие и младшие.

Корф (Грегори вдруг понял, что не знает его имени – курляндца все называли по фамилии, что было и красиво, и удобно, а к сближению и фамильярности этот немец-перец-колбаса и не стремился) несколько мгновений придирчиво смотрел в зеркало потом пригладил резным костяным гребешком едва заметные усики. Какие там усики – пушок над верхней губой, расчесать нечего. Заметив, как усмехается Шепелёв, курляндец покосился на него – видно было, что Корфа так и подмывало отвесить наглому *баклажке* добрую *кокосу*, чтоб не скалил зубы над старшими. Помедлив несколько мгновений, курляндец всё-таки преодолел искушение и подмигнул Грегори:

– Кто-то когда-то мне говорил... и держал за верное... что если усы чаще расчёсывать и растирать, то они быстрее вырастут...

– Думаешь, правда? – Шепелёву смерть как хотелось расхмылить во весь рот.

– Да кто его знает, – пожал плечами Корф, вновь проводя гребешком по верхней губе. – Но хуже-то от этого не станет, даже если врут... а если правда, то поможет.

– И ты хочешь, чтобы усы быстрее выросли? – голос Грегори дрогнул от сдерживаемого смеха. Корф подозрительно покосился на него, прикидывая, не следует ли всё-таки отвесить первогодку затрещину.

Редкий это был случай, чтобы гардемарин так откровенничал с *баклажкой*, тем более, о собственном мальчишестве такого пошиба.

Впрочем, Грегори Корфу нравился, и гардемарин мог быть уверен, что Шепелёв не помчится по корпусу рассказывать на каждом шагу о глупом поведении курляндца.

– Наверное, да, – серьёзно ответил Корф, подумав. – Все мы хотим повзрослеть. Или хотя бы выглядеть взрослее. Чтобы стать значимее, чем есть.

Он вновь покосился на Грегори и внезапно сказал:

– Ну говори уже, вижу ведь, что съязвить хочешь...

Догадливый!

– Ты подбородок тоже потри, да посильнее, – сказал Грегори, постаравшись влить в голос как можно больше яда. Желательно бы бруцина, того, который орех святого Игнатия. – Борода вырастет, ещё взрослее станешь... глядишь, и в боцмана...

Он едва успел отскочить – настолько стремительным было движение гардемарина. Кулак Корфа свистнул у самого уха. Впрочем, бил курляндец не всерьёз, скорее для порядка, который требовал наказать наглеца. Одна беда – Корф локтем зацепил зеркало, оно слетело со столика на ближнюю кровать. Добро хоть не на пол – пришлось бы потом осколки собирать.

– Наглая скотина, – беззлобно сказал курляндец, провожая свирепым взглядом удирающего к двери Шепелёва и снова потянулся к кровати за зеркалом.

Оркестр гремел, сиял начищенными трубами, по танцевальному залу, кружась, носились пары. Подтянутый Овсов кружил какую-то молодую даму в жемчужном муслине, стремительный Корф, увлекая девушку в зеленоватой тафте, пронёсся мимо замерших в восторге *баклажек*, каждый из которых жадно провожал пару взглядом, не в силах оторвать его от лихого гардемарина и покатых открытых плеч девушки. Кто она была такая? Никто не знал. Да и какая разница – кадеты восхищались не столько внешностью девушки, сколько молодцеватостью своего любимца – Корф был самым уважаемым из гардемарин.

Шепелёв по-прежнему путался в танцевальных па и, покружив какую-то девчонку несколько кругов, с поклоном извинился. Сожалеть было особо не о чем – девочка двигалась не ловчее Грегори, но всё равно, похоже, обиделась – надула губы и больше в его сторону не смотрела, тем более, что к ней через какую-то минуту подбежал какой-то лопухий

баклажка и снова пригласил. Кавалеров на этом балу было раза в два больше, чем дам, и никто не остался обделённым.

Грегори в ответ на обиженный взгляд даже не оглянулся.

Всё понятно. Наверняка у этой барышни первый бал, как и у него же – обиделась. Ладно, что ж – дело житейское.

Мало того, что она ни разу не заметила, что он постоянно наступал её на ноги, так у него от этой собственной неловкости просто щёки и уши огнём горели. Да и откуда ей было знать, что ему вдруг ни с того, ни с сего вспомнился Новотроицк. И Маруська – она конечно, в отличие от этой барышни, танцевать такое не умела совсем, но... хоть убей – помнилась. Золотистая коса через плечо толщиной в его руку и синий взгляд вполоборота и – всё! И начали заплетаться ноги, а лёгкие шагреновые туфельки, шитые серебром, таки норовят оказаться под носками его штиблет. А голова – как в тумане.

Тут не хочешь, а извинишься и отступишься.

Грегори остановился у стенки, переводя дыхание, чуть мотнул головой. Глупо подумалось – была б на голове сейчас фуражка, покатила бы по вощёному паркету.

Ни Власа, ни Невзоровича поблизости не было. Грегори искал друзей взглядом, но не нашёл – должно быть, всё-таки танцевали где-то за спинами кружащихся пар. Ну да, ничего удивительного, танец у них и на занятиях всегда выходил лучше, чем у Шепелёва.

Оркестр доиграл мазурку и умолк. Капельмейстер неторопливо (музыканты переводили дух, пока он возился) перелистывал партитуру, отыскивая следующую мелодию. Пары рассыпались, перемешались, люди хлынули в стороны, растекаясь вдоль стен. Друзья рядом так и не возникли.

Да и пусть их, – подумал Грегори с усмешкой.

Зато совсем рядом с ним прошёл Овсов, провожая свою даму. Петух расфуфыренный, – с досадой подумал Шепелёв, против воли провожая даму Овсова взглядом. Невысокая, стройная, с распущенными по плечам белокурыми волосами и лентой, охватывающей голову на новомодный греческий манер, точёный обвод лица, тонкий нос с едва заметной горбинкой, светлая кожа с лёгким оливковым оттенком. На вид едва лет двадцать.

Овсов рядом с ней действительно смотрелся, словно бенгальский петух перед белой курочкой, только что не приплясывал и не обходил её то с одной стороны, то с другой.

Интересно, кто такая? – полуравнодушно подумал Грегори.

И почти тут же услышал разговор за спиной.

– Мдаа, – протянул первый голос, и Грегори, не оборачиваясь (и сразу понял, что оборачиваться, а значит, выказывать, что ты что-то услышал – не стбит), узнал Ширинского-Шихматова. Князь говорил негромко, видимо, рассчитывая, что воспитанники стоят слишком далеко от него, и никто из них не расслышит его слов. Расчёт был правильный – никто и не слышал в общем гомоне танцевального зала.

Никто, кроме Шепелёва – должно быть, Грегори стоял ближе, чем рассчитывал князь.

– И как мы докатились до такого? – в голосе Ширинского-Шихматова послышалась явственная, хотя и тщательно скрываемая горечь.

– О чём вы, Сергей Александрович? – удивлённо спросил другой голос, значительно моложе. Деливрон, – без труда узнал Грегори. Теперь оборачиваться, даже если бы и хотел, было поздно – оба офицера тут же подумают, что он нарочно подслушивает.

– Об этой особе, – брезгливо ответил князь. – Той, что танцевала сейчас с Овсовым...

– Но кто она? – по-прежнему удивлённо спросил Деливрон. – Отменно хороша...

– Генеральша фон Шпильце, – процедил Ширинский-Шихматов так, словно ему неприятно было говорить об этом. Может и было.

– Такая молодая – и уже генеральша? – удивился Деливрон ещё сильнее. – Ей двадцать-то лет есть?

– Вот то-то и оно, – вздохнул князь. – И заметьте, Карл Францевич, никто и никогда не видел самого генерала фон Шпильце. Никто и никогда. Зато её знает весь свет и полусвет...

– А как её зовут? – было похоже, что Деливрон заинтересовался.

– Амалия Потаповна.

– Comment, excusez-moi?¹¹

– Именно так, как вы и расслышали, – по голосу князя можно было понять, что он всё-таки оттаял и улыбается. – Амалия Потаповна. Удивительное сочетание, не правда ли, Карл Францевич?

– Но я не понимаю...

– Моей неприязни? – понятливо подхватил Ширинский-Шихматов. – Она тёмная личность, и я вижу это так же ясно, как белый день. Тёмная во всех смыслах. Порочная. И злая... Мне, наверное, трудно сейчас было бы объяснить, я пока не нашёл достаточно правильных слов, чтобы описать свои ощущения... о, это конечно, только ощущения, никак не факты!..

В этот момент оркестр снова грянул и заглушил голоса офицеров. Грегори с облегчением и одновременно с досадой шевельнулся – теперь можно было и плечи размять.

А то и пригласить потанцевать кого-нибудь, дивясь странной предвзятости милейшего Сергея Александровича.

2

Ночью в город пришла пороша. Присыпала тонким слоем улицы и дома, осела на покатых питерских кровлях, рассыпалась под сапогами, копытами и полозьями.

Грегори неторопливо прошёл под аркой, кивком ответил на приветствие часового (часовые уже тоже знали их в лицо и помнили, что этих троих можно выпускать из корпуса без лишних вопросов – очередной повод для злости Овсова, на который друзья по молчаливому уговору, дружно махнули рукой) и вышел на набережную.

Влас с утра засел в библиотеке, пренебрёг даже возможным гулянием по городу – должно быть, отыскал что-то новое или редкое по навигации. Или ещё по чему – что-то с ним творилось странное в последнее время.

Невзорович с утра пропал в городе с каким-то своим знакомцем – то ли поляком, то ли таким же литвином, как и он сам. Грегори и Влас с этим молча согласились – оба понимали, что их другу из Литвы нужно видеть кого-то с родины. Будь у них самих такая же возможность... в конце концов, Влас и сам виделся с братом в декабре уже пару раз, пока того не перевели на всю зиму в Кронштадт. Что ж в этом зазорного?

Но грустновато всё равно было.

Грегори сразу же не понравился новый приятель литвина – при первой же встрече, когда Глеб представил его друзьям, поляк так посмотрел на них, оглядев с головы до ног, что у Шепелёва в глубине души словно кто-то оскалился и вздыбил шерсть – вот-вот зарычит. Тот смотрел так, словно он сам был каким-нибудь герцогом Кембриджским¹² на собрании расшитых вражескими скальпами вождей Лиги ходеносауни¹³, только что нос не морщил. Слова цедил сдержанно, через губу и пару раз прикинулся непонимающим, хотя сам по-русски говорил отменно. Влас, должно быть, списал эти странности Глебова земляка на то, что тот был старше любого из них троих лет на пять, но Грегори в глубине души, чем-то более сильным и пронизательным чем разум, понимал – нет, дело совсем не в этом.

¹¹ Как, простите? (франц.).

¹² Адольф Фредерик, [герцог Кембриджский](#) (24 февраля 1774, Лондон – 8 июля 1850, Лондон) – британский фельдмаршал, младший сын английского короля [Георга III](#), брат короля Георга IV, дядя королевы Виктории.

¹³ Лига ходеносауни – конфедерация шести индейских племён (мохоки, онайда, онондага, кайюга, сенека и тускарора), известных под общим названием ирокезов.

Совсем не в этом.

В ноябре, после стычек с *чугунными*, после драки с *уличниками*, после приключений в наводнение Грегори уже стало казаться, что их дружба – навек, и не найдётся ничего, что могло бы им помешать. А вот на тебе – вроде бы ничего и не случилось, а почти что стали каждый сам по себе.

Хоть новых приключений ищи, право слово...

За размышлениями Грегори не заметил, как прошёл по мосту на Сенатскую и остановился около монумента. Опять вспомнилось наводнение, и он не смог сдержать усмешки, вспоминая, как растрёпанный человек на постаменте грозил кулаком городу Петра, сам при этом цепляясь другой рукой за вздыбленное копыто Петрова коня.

Великий государь взирал на своего главного детище (пожалуй, так, да!) полуравнодушно и вместе с тем пытливо. Так казалось кадету, хотя Грегори и не мог видеть выражения лица императора. Но он верил, что государь смотрит именно так – он верит, что город выберется из любой беды, из любой напасти, которая может обрушиться на него. И вместе с тем, словно проверяет – а какой ты, город? Таков ли, каким я тебя задумывал?

И гордится им.

Резкий окрик за спиной заставил кадета посторониться, и мимо пронеслось запряжённое орловцем (точь-в-точь – отцовский Бой, только окрас чуть темнее) лёгкое ландо – ореховые дверцы, полог цвета слоновой кости, широкие окна. В одном из них мелькнуло странно знакомое лицо, и Грегори невольно подался вслед за экипажем, тут же, впрочем, опомнившись – мало ли что почудилось, не хватало ещё броситься следом, как дураку.

Впрочем, экипаж остановился неподалёку от высокого забора, окружающего стройку Исаакия. Внушительного вида кучер в тёмно-сером армяке и малахае соскочил с облучка и торопливо распахнул дверцу – как раз с той стороны, где стоял Грегори.

Кадет опять невольно подался вперёд, стараясь разглядеть (для чего? – он не знал и сам!) седоков.

Судьба ему благоприятствовала.

Сначала из глубины ландо показалась длинная нога в изящном чёрном штиблете и обтягивающей белой штанине, на мгновение зависла в воздухе, словно нащупывая опору, потом твёрдо стала на подножку. Потом, вслед за ногой изнутри вынырнул... ну право слово – щёголь! Белые лосины, словно у гусарского офицера, небесно-голубой фрак и чёрный галстук, высокий серый боливар со щегольски изломленными полями, белые перчатки и ореховая трость с серебряным набалдашником, лорнет на тонкой цепочке, поверх фрака – широкий чёрный редингот нараспашку.

Ай, хорош!

Грегори даже невольно залюбовался.

Из глубины экипажа вынырнула тонкая женская рука в длинной голубовато-белой перчатке, кисея которой уходила под широкий меховой рукав, и фронт согнулся в полупоклоне, лоя дамские пальцы и касаясь их губами.

На миг в распахнутой дверце показалось женское лицо в меховом капоре, и кадет даже притопнул ногой – он не ошибся! Это то самое лицо, которое он видел на вчерашнем балу, та самая молодая дама, с которой танцевал Овсов.

Генеральша фон Шпильце.

Амалия Потаповна.

Хороша, – невольно сказал он сам себе, и тут же смутился, даже покраснел. Тебе-то собственно, какое дело, *баклажка*?! Ты таких дам в руках держать будешь в лучшем случае через несколько лет.

Дверца ландо захлопнулась, кучер рывком вскочил на облучок, примостился на козлах, взмахнул кнутом, щёлкнул, и рысак, который всё это время нетерпеливо бил копытом по мёрзлой заснеженной брусчатке, взял с места ровной рысью, за которую эта порода коней и ценилась.

Франт постоял несколько мгновений, крутя в руке трость так, словно это была камышинка, задумчиво попинал носком щегольского штиблета промёрзшее до каменной консистенции конское яблоко, потом решительно тронулся в сторону Александровского бульвара.

– Бу! – сказал вдруг кто-то громко у Грегори за спиной, и кадет против воли шарахнулся, оборачиваясь. Не удержался – что-то попало под ногу и повалился в снег. Сзади захохотали.

Грегори взбешённо вскочил, сжимая кулаки, но смех уже прекратился. Тот, кто хохотал, стоял перед ним, упирая кулаки в бока.

Яшка!

Яшка-с-трубкой.

Бульвардье был один, без своей верной ватаги за спиной, совсем как тогда, в Рождество, когда Грегори встретил его около парохода на Стрелке. Шляпа была сбита набок и заломлена, тёплый, хоть и рваный казакин нараспашку, на ногах – старые побитые матросские башмаки. И любимая трубка торчит из-за пояса.

Грегори шагнул к нему, сжав зубы, но *уличник* протянул руку навстречу, выставляя её ладонью вперёд:

– Не злись, кадет, – примирительно сказал он, обнажая в улыбке побитые табаком зубы, в которых обнаружился некомплект – не хватало двух. – Кто ж знал, что ты так испугаешься...

– Я не испугался, – процедил Грегори. – Просто ты неожиданно это сделал.

– Ладно, ладно, – пробормотал Яшка, тоже делая шаг вперёд. Грегори протянул ему руку, оборванец несколько мгновений смотрел на неё удивлённо, словно не понимая, что ему делать с рукой барчука, потом чуть неуверенно пожал её. – Только ты смотри, когда-нибудь вот так что-нибудь над ухом бабахнет... пушка, скажем...

Кадет снова сжал кулаки и почувствовал, как у него раздуваются ноздри от бешенства. Но драться из-за такой мелочи было глупо, и Грегори усилием воли обуздал злость.

– Ничего, обойдётся, – бросил он, переводя дыхание. Яшка одобрительно кивнул и вдруг спросил:

– А ты чего это один, *баклажка*... так, кажется, вас в корпусе называют? Где твои друзья-то?

– А... – кадет неопределённо повёл рукой, словно собираясь то ли куда-то показать, то ли отмахнуться, но этого жеста вполне хватило – *уличник* больше не спрашивал. – А твои где?

– На деле, – скупой ответил Яшка, и Грегори прищурился.

– Так тебе ж с ними надо быть, раз они на деле, а ты – атаман, нет?

– Соображаешь, – одобрительно сказал *бульвардье*, чуть толкая Грегори в плечо, и тут же оглядываясь – не видит ли кто его фамильярности – городской, к примеру, или офицер какой, а то кто-нибудь из корпусного Гришкиного начальства. Но на площади было почти пусто, только давешний франт торопливо удалялся – широкие полы редингота мели снег на брусчатке и покачивался туда-сюда боливар.

Яшкин взгляд так и прикипел к нему, словно не в силах оторваться.

– О! – только и сказал он, глядя франту вслед.

– Чего – о?! – недовольно спросил Грегори, не видя, куда смотрит Яшка. – Чего не со своими, говорю?

– Тебе-то на что знать? – грубовато ответил *уличник* отсутствующим тоном, всё ещё глядя франту вслед. – Ты ж не полицейский.

– Интересно, – не стал обижаться кадет.

– У меня сейчас своё дело... – всё так же отсутствующе сказал *уличник*. – Поговорить надо с человеком одним...

– С каким? – не отставал кадет. *Бульвардые* оторвался-таки от франта взглядом на несколько мгновений, замолчал, разглядывая кадета, словно раздумывая, стоит ли ему доверять, потом сказал, снова переводя взгляд на исчезающую между липами Александровского бульвара фигуру:

– А вот пошли со мной – увидишь!

3

Звонили колокола.

Перезвон растекался над Невой, над Дворцовой площадью, валом, словно вода в недавнее наводнение, тёк по линиям Васильевского острова и перспективам Адмиралтейской стороны.

В Летнем саду от колокольного звона с деревьев и кустов опадали снежные хлопья, плавно кружась, опускались на расчищенные дорожки и укутанные в плотные рогожные покрывала статуи.

Щёголь сидел на скамейке в широкой аллее Летнего сада, закутавшись в редингот и подстелив его под себя. Ага ж, – небось холодно сидеть в лосинах-то на промёрзших досках, – злорадно невесть с чего (не нравился ему франт, ох не нравился!) подумал Грегори. Франт ковырял носком штиблета небольшой комок снега (кадет мгновенно вспомнил конское яблоко, которое щёголь пинал тем же штиблетом), тыкал в него острым концом трости, любовался на громадину Михайловского замка за чугунной литой оградой – изо всех сил изображал пустое времяпровождение, прикидывался, что ему нечего делать. Глядя со стороны, можно было и поверить в это.

На первый взгляд.

А вот на второй... на второй было понятно, что это всё обман. И по сторонам он поглядывал то и дело, словно ждал кого, и в комок тростью тыкал так, что слепой бы угадал – франта грызёт нетерпение. Не просто грызёт, а пожирает прямо.

Мальчишки остановились в десятке сажен от него, и Грегори непонимающе спросил у Яшки:

– Ну и чего ты меня сюда приволок? А то не видал я этого денди?

– А... – атаман странно посмотрел на кадета, но всё-таки договорил. – А ты его видел где-то?

– Да вот только что, – Грегори пожал плечами. – Он у меня на глазах около монумента из ландо вылез, прямо перед тем, как ты меня... – он помедлил, но всё-таки выговорил это слово – перед тем как ты меня напугал.

– Ага, всё-таки напугал, – мстительно и самодовольно бросил ему Яшка, и кадет спорить не стал. Напугал, так напугал, пусть его, тем более, ты, кадет Шепелёв, сам это слово и произнёс. Хотя какой мальчишка в пятнадцать лет признается, что он чего-то испугался?

– Так чего мы тут делаем-то? – вновь спросил Грегори, но Яшка только плечом шевельнул:

– Сейчас увидишь. Главное, помалкивай и не высывайся. И не удивляйся ничему.

Странные слова Яшки озадачили кадета, но Грегори, подумав, не стал ни возражать, ни переспрашивать. Пусть так. Потом успеет выспросить. Ответит атаман, куда он денется.

Щёголь, между тем, поднял голову, сумрачно и нетерпеливо глянул в их сторону из-под широкого поля боливара, и почти тут же оживился.

– Ага, – процедил он, чуть отставляя в сторону трость. – А вот и Яша...

– Здравствуй, Париж, – сказал *бульвардые*, зябко передёрнувшись, словно от одного только взгляда щёголя его пробрал озноб. Париж в ответ только закинул ногу на ногу, воткнул

в зубы тонкую сигариллу, ловко чиркнул колесцовым запалом и поднёс к концу сигариллы тлеющий на фитиле огонёк. Пыхнул несколько раз, раскуривая (ноздри Грегори щекотнул горьковатый аромат гаванского табака), глянул, чуть склонив голову.

– Я жду, – холодно процедил он Яшке, ничуть не обращая внимания на кадета, словно его тут и не было. Ишь, мазнул по мне взглядом, как по стенке кирпичной, – зло подумал Грегори, начиная закипать.

– Ч-чего? – *уличник* опять вздрогнул, словно не понимая, о чём идёт речь, хотя кадет готов был поклясться – притворяется Яшка, как бог свят притворяется. Должно быть, Париж, пристально и испытующе посмотрев несколько мгновений на *уличника* (голова атамана в это время опускалась всё ниже и ниже, он только изредка зыркал на франта искоса, и во взгляде его – Грегори ясно это видел! – вспыхивали попеременно восхищение и неприязнь!), пришёл к такому же выводу. Вздохнул (полупрозрачное дымное облачко окутало его голову и почти тут же рассеялось), перевёл взгляд на ближнюю статую, плотно укутанную в рогожу и оттого похожую на Кострому¹⁴, которую вот-вот запалят. Но это была не Кострома, и на дворе стояла не семик, и уж тем более не петровки. И Париж, не отрывая от неё взгляда, отсутствующим голосом сказал:

– Я не люблю повторять. И не люблю пояснять очевидное, – и после почти незаметной паузы пояснил. – Потому что не люблю, когда меня держат за дурака.

Он шевельнулся, едва заметно, но в его движении было столько угрозы, что Грегори даже чуть попятился. Будь он собакой, у него бы шерсть на загривке встала дыбом. А вот Яшка... этот даже не шевельнулся, продолжая искоса смотреть на франта. Грегори тоже смотрел, не отрываясь, – он ждал, что вот сейчас у Парижа в руках появится нож или он повернёт набалдашник трости и выдернет изнутри длинный тонкий стилет – доводилось ему слышать про такое от *чугунных* во время вечерних посиделок в спальне.

Да кто ж он такой, в конце-то концов?! – молча завопил Глеб непонятно кому.

Никто не ответил.

– Ну? – холода в голосе франта прибавилось.

– Ладно, – сдался, наконец, Яшка, шагнул к Парижу, шевельнул рукой, словно вынимая что-то из-за кушака.

Трубку?

Нет, трубка осталась на месте!

Перстень!

Блеснуло на грязной ладони *бульвардье* белое золото, искристо сломался свет на гранях камня, и Грегори тут же вспомнил, как осенью *уличники* разрезали стекло, чтобы залезть в спальню корпуса. Так вот оно что.

– Ага, – сказал Париж с удовлетворением. – Я так и знал, что ты врёшь.

– Ну чего сразу «врёшь» -то? – немедленно затянул Яшка, переминаясь с ноги на ногу и юля глазами. Врёт, – мгновенно понял Грегори. Впрочем, атаман и не старался притворяться, так, видимо, для порядка ныл.

Положено так.

– Давай сюда, – непререкаемым тоном сказал Париж, и Яшка послушно шагнул к нему, протягивая перстень. Дальнейшего Грегори не только понять не успел, но и увидеть. Франт коротким неуловимым движением сцапал атамана за ухо, крутанул – и Яшка взвыл, падая на колени. Кадет сделал было движение, собираясь броситься на помощь (оно, конечно, Яшка ему – никто, но всё же!), но остановился, поражённый тем, что ни в лице, ни в глазах Парижа

¹⁴ Кострома – сезонный весенне-летний ритуальный персонаж в русской и украинской традиционной крестьянской культуре. В русских обрядах «проводов Весны» Кострома – молодая девушка, закутанная в белые простыни, с дубовой веткой в руках, сопровождаемая хоромом. Существовал также ритуал «похорон Костромы»: соломенное чучело, олицетворявшее Кострому, сжигали либо хоронили, разрывали на части с обрядовым оплакиванием и пением песен.

не было ни злости, ни удовольствия, ни злорадства даже – только холодная скука, словно он выполнял наскучившую обязанность. Да и Яшка, хоть и орал по-настоящему, а было в его голосе что-то нестерпимо фальшивое, словно напоказ это делал.

– А дружок-то у тебя неплох, – одобрительно покосился франт на Грегори. – Где и сыскал такого, в кадетской-то форме...

– Он не дружок мне, – всхлипнул Яшка, перестав орать – должно быть, Париж ослабил-таки хватку. – Так, знакомый...

– Перстень давай, – вновь обратил на него внимание франт. Взял перстень из руки атамана, глянул сквозь камень на свет, не отпуская уха атамана, удовлетворённо кивнул и разжал пальцы, выпуская ухо.

Яшка не спешил вставать на ноги, он скулил, теперь уже непритворно и не напоказ, осторожно трогая стремительно опухающее ухо – похоже, пальцы франта оказались просто-таки железными.

– Вот то-то же, – удовлетворённо сказал Париж, пряча перстень в карман. – А то ишь, выдумал – потеряли они его...

– Да правда же потеряли, – плачущим голосом сказал атаман, продолжая осторожно прикасаться к уху. Коснулся неосторожно и негромко взвыл. Умолк, всхлипнул, утёр нос ободраным кулаком и начал вставать на ноги. – Лёшка куда-то сунул, чтоб не потерять, а потом забыл в наводнение-то. Вот вчера только нашли.

– Значит, надо было раньше найти, – беспощадно сказал Париж. В его глазах мелькнуло что-то неуловимое, и Грегори понял, что франт едва удерживается, чтобы не наподдать поднимающемуся атаману под зад или в живот пинка, чтобы тот летел до самой Лебяжьей канавки. – Скажи спасибо, что башку не оторвал.

– Спасибо, – пробурчал Яшка и выпрямился. Опухшее ухо налилось кровью и горело тёмно-малиновым цветом.

– В расчёте тогда, – франт уже повернулся лицом воротам сада, собираясь, видимо, уходить, но атаман окликнул его:

– Париж, погоди!

– Ну чего ещё? – недовольно оглянулся франт.

– Попросить хочу, – сказал Яшка таким смиренным тоном, что Грегори поразился в перемене поведения атамана. После такого – он хочет ещё о чём-то просить? Да он бы, Грегори, за такое...

Что бы он сделал, кадет не успел придумать – Париж расхохотался.

– Экий ты наглец, приятель, – сказал он с неприязнью и одновременно с одобрением. – Чего тебе ещё надо?

– Словечко за меня замолви перед Крапивой, – атаман шагнул ближе.

– Что за словечко ещё? – Париж чуть приподнял бровь, подтолкнул набалдашником трости кверху поле боливара, словно шляпа мешала ему видеть мальчишек. Покосился на молчаливого насупленного Грегори, но кадет не шевельнулся – ему нравилось, что Париж не может его понять. Я не понимаю кто ты, – словно молча говорил ему Грегори, – и ты меня хрен поймёшь.

Впрочем, он уже понимал, что франт этот никакой не аристократ и не денди – какой аристократ или денди потерпит, чтобы уличный оборванец (*бульвардье*, ага!) обращался к нему на «ты» да ещё и называл его каким-то странным прозвищем.

«Не денди», между тем, снова смотрел на Яшку, потеряв, видимо, всякий интерес к кадету.

– Ну так что тебе за рекомендация понадобилась?

– Нас выживают с канала, – торопливо затараторил атаман. – После наводнения нас стало меньше, лиговские напирают, вот-вот и совсем выгонят.

– А мне что за печаль? – говорил, впрочем, «не денди» вполне грамотно и красиво, пожалуй, даже грамотнее, чем дворянин Шепелёв. – Пусть выгоняют. Свято место не бывает пусто, сам знаешь.

– Я слышал, наводнение не только у нас беды наделало, – осторожно сказал Яшка. – *Уличников* в центре стало меньше...

– Место сменить хочешь? – понимающе усмехнулся Париж. – Место в центре дорого стоит...

– Мы отработаем, – всё так же торопливо сказал *бульвардье*. – Отработаем, за этим дело не станет.

– Моя помощь тоже не задаром, – продолжал гнуть своё франт.

– И тебе отработаем, – мгновенно согласился Яшка. – Я уже говорил со своими, они согласны с тобой работать.

Париж показал в усмешке зубы – словно волк оскалился. Так вот с чего вы всё-таки решили вернуть мне перстень, – словно говорил он. Яшка понял и только потерянно вздохнул, признавая свою вину.

– Наметку прямо сейчас дашь? – цепко спросил Париж.

Атаман несколько мгновений помялся, покосился на Грегори – казалось, он сомневается и уже жалеет, что позвал кадета с собой. Наконец, Яшка шагнул к франту и что-то сказал ему вполголоса. Всего несколько слов, но этого хватило, чтобы Париж удивлённо поднял брови.

– Ну что ж, – протянул он, подумав несколько мгновений. – Это стоящая маза... а ну-ка, поддержи, я маляву строкану.

Грегори оторопело моргнул. Париж словно маску сбросил, разом перейдя с изысканной салонной речи сразу на уличный выговор, и это было так неожиданно и даже страшно, словно колдун (человек, хоть и злой!) через нож в пеньке перевернулся и предстал в волчьем обличье.

Париж, между тем, извлёк откуда-то из кармана фрака блокнот в посеребрённом корешке, стремительно черкнул в нём что-то хардмутовским карандашом в серебряной оплётке, вырвал листок веленовой бумаги с голубоватым оттенком и протянул Яшке.

– Вот. Отдашь это Крапиве. Где его найти, знаешь?

– В Глазовом кабаке, небось, – шевельнул плечом Яшка, принимая записку и отдавая франту трость. Париж в ответ только прикоснулся к полю шляпы набалдашником, словно отдавая честь, повернулся и пошёл в сторону Михайловского замка.

4

Яшка напористо шагал по набережной Фонтанки, а Грегори торопливо шёл следом, пытаясь успеть за *уличником*.

– Да погоди ты! – не выдержал он, наконец. – Спешись, будто там тебе бублики с мёдом бесплатно дадут!

Атаман оглянулся на кадета и наконец, замедлился, сбавил шаг, а потом и вовсе остановился.

– Тебе чего надо? – огрызнулся он. – Чего ты со мной увязался?

Грегори на мгновение растерялся, но тут же взял себя в руки, и угрожающе сопя, придвинулся к атаману вплотную.

– Не надо со мной так говорить, – тяжело произнёс он. – Я не из твоей шайки. Ты сам меня с собой позвал, так? А теперь что ж?!

– Я? – поразился атаман, не обращая внимания на угрозу в голосе кадета. – Я тебя позвал в Летний сад всего лишь. А теперь... – он на мгновение запнулся, выбирая слова – должно быть, вспомнил, что Грегори не такой же *уличник* как и он, а всё-таки кадет (будущий офи-

пер!) и дворянин. Хотя такое чувство, как страх, скорее всего, атаману было неизвестно. – Ну... не стоит тебе ходить туда, куда я иду...

– Не понял? – мотнул головой кадет. – Почему это ещё?

Бульвардье помялся несколько мгновений, потом всё же пояснил:

– Плохо кончиться может. Там... – он махнул рукой в неопределённом направлении, куда-то на юго-восток, – там такие как ты – редкие гости.

– Такие, как я, – повторил Грегори. И тут до него дошло. – Чистая публика, что ли?

– Ну да, – пожал плечами Яшка. – На Лиговский такие заглядывают редко. Делать там вам совершенно нечего.

– А плохо-то почему кончится? – всё ещё не понимал кадет.

– Не любят там ни кадет, ни гардемарин, ни офицеров, ни полицию, – терпеливо пояснил атаман. – Побить могут.

– А я драк не очень-то и боюсь, – холодно обронил Грегори – намёк атамана на то, что он, Гришка Шепелёв, Грегори, может испугаться драки с оборванцами, привёл его в бешенство и окончательно склонил к тому, чтобы обязательно пойти на Лиговку вместе с Яшкой. – Надо будет, так и накостыляю твоим...

– Там не мои, – поправил его Яшка. Смерил кадету взглядом с головы до ног, словно видел впервые и теперь прикидывал, на что тот годится. Видимо, вспомнил осенние стычки, шевельнул щекой. Предупредил. – Лиговские – самые большие сорвиголовы в Питере. Туда даже полиция опасается заходить.

– И что ж с того? – бросил Грегори, понимая, что Яшка больше не станет спорить. – Ты же идёшь туда. Или надеешься, что тебя не тронут...

– Если не успеют, – согласился Яшка. – Лиговские чужих не любят, а я для них чужак. Почти такой же, как и ты. Только я – *уличник*, а ты – чистая публика. Могут сильнее не полюбить, чем меня.

Грегори махнул рукой, словно говоря – а не всё ль равно? Двум смертям, как известно, не бывать, а одной не миновать. Мальчишки двинулись дальше по набережной (впереди уже виднелись башни Аничкова моста), и Грегори вдруг спросил:

– А как же этот? – и мотнул головой в сторону оставшегося где-то позади Летнего сада. – Он же из чистой публики, разве нет?

– Кто? – не сразу понял Яшка. – А! Париж-то?!

– Ну да.

– Кто тебе сказал, что он из чистой публики? – развеселился атаман. Теперь, когда Грегори настоял на своём, хмурый настрой обоих как рукой сняло. – Ты вот думаешь, кто он такой?

– Да я даже и не знаю, – пожал плечами кадет. – Я сначала думал, жуир¹⁵ какой-нибудь, денди. А теперь понимаю, что не таков он, не великосветский хлюст...

– Вор он, – веско сказал атаман. – Из дорогих. Не из тех, что как мы, мелочишку из карманов у богомольцев на паперти щиплем, или там, когда повезёт, кошелек можем срезать у раззявы. Париж берёт особняки, дворцы даже иногда...

– Дворцыбы? – протянул недоверчиво Грегори, сделав круглые глаза. В то что Париж – вор, он поверил сразу. И ничуть не удивился – мог бы и сам догадаться.

– Ну врать не буду, сам не видел, – неохотно ответил Яшка, – а только поговаривают, он дворец Белосельских-Белозерских однажды на полмиллиона обнёс. Может, и правда...

– А полиция что же?

– А что полиция, – пожал плечами Яшка. – Им с того тоже небось, мзда перепала. Не каждому, конечно, а уж полицмейстеру-то наверняка. Вот они ищут мелочь вроде тех, кого сейчас на Лиговке увидишь. А Париж на паркетах скользит...

¹⁵ Жуир – весело и беззаботно живущий человек, ищущий в жизни только удовольствий (от фр. *jouir* – наслаждаться).

– И высматривает на балах, где что украсть, – понял Грегори, покачав головой. Ай да воры питерские! – Сейчас вот к генеральше фон Шпильце, должно быть, добирается...

– К Амальке-то? – засмеялся вдруг Яшка и даже рукой махнул. – Вот уж нет...

– К Амальке? – удивился кадет. – Амалия Потаповна-то...

– А ты что, думаешь, она тоже из чистой публики? – губы атамана скривились. – Генеральша, как же...

– А нет? – поразился Грегори.

– Нет, конечно! Толком вообще никто не знает, кто она – не то полька, не то француженка, не то вовсе жидовка или чухонка. Она совсем недавно ещё камелией была... – весело сообщил Яшка. Казалось, ему нравится ошарашивать Грегори такими подробностями питерского дна – слишком уж смешно удивлялся кадет. – Ну содержанкой, ну!

Кадет покраснел.

– А теперь?

– А сейчас сама камелий воспитывает.

– Для чего воспитывает?

– Экий ты непонятливый, а ещё учёный, из благородных, – с сожалением сказал Яшка и снисходительно пояснил. – Ну вот подберёт на улице девочку покрасивее – из порядочных, конечно, не из нашего брата, нашим-то иногда и в двенадцать лет уже поздно бывает к такому делу, подкормит её, воспитает... а потом какому-нибудь благородному её в камелии и пристроит. Не бесплатно, понятно уж.

Грегори казалось, что покраснеть сильнее нельзя, однако ж оказалось, что можно. Сразу вспомнились вчерашние слова Ширинского-Шихматова, который назвал генеральшу фон Шпильце тёмной личностью. Князь ничего, скорее всего, не знал точно, но интуиция добрейшего Сергея Александровича, видимо, не подвела.

Тёмная личность Амалия Потаповна.

Темнее некуда.

– Это низко, – сказал он, пройдя несколько шагов в молчании. – Низко и мерзко.

– Это слова и дела господские, – чуть посмурнел Яшка. – А среди наших каждый живёт с чего может.

– Но на такое дело нужны деньги, – сказал Грегори после нового недолгого молчания. – Понятно, что она получает мзду от... – он помедлил, словно не в силах выговорить слово, – от покупателей, но для самого начала – всё равно нужны были.

– Ну а с чего ты думаешь, она с Парижем-то дружит? – засмеялся Яшка. – Может ей с того полумиллиона от Белосельских тоже что-нибудь и перепало. Потому сама и смогла из камелий вырваться.

Грегори снова умолк, перебарывая услышанное. Северная Пальмира открывалась ему с какой-то новой, совершенно незнакомой стороны, и нельзя было сказать, что эта сторона была приятной. Так бывает, когда встретишь одетую по последней парижской моде даму, а тут ветер срывает с неё вуаль и парик – и вместо прекрасной незнакомки открывается облыселое морщинистое лицо Бабы Яги с торчащим изо рта единственным пожелтым клыком.

– Тогда, наверное, и перстень этот... – сказал он. – Тоже небось из того дворца?

– Наверное, – пожал плечами Яшка, словно говоря – мне то какое дело.

– А я думал, это ваш перстень... а ты получается, его на время взял.

– Ну да, – Яшка смущённо усмехнулся. – Откуда у нас, *уличников*, такое счастье? Он стоит столько, сколько нам никому и не снилось никогда.

– А ты и правда его потерял, или просто возвращать не хотел? – полюбопытствовал Грегори, но атаман смолчал, глядя в сторону и только осторожно прикоснулся к распухшему уху. Краснота уже понемногу спадала на морозе, но ухо по-прежнему ещё отсвечивало малиновым.

– Бывает, конечно, и у нас удача, – задумчиво сообщил Яшка. – Вот в августе, к примеру, когда большие скачки были...

– На ипподроме?

– Да нет, – атаман чуть улыбнулся. – Англичане с Васильевского побились об заклад с нашими со Средней Рогатки. Устроили скачки – три английских жеребца – Нитроген, Шарпер и... забыл, – сообщил он сокрушённо, – против трёх наших дончаков, там жеребец Леонид в жоках. Народищу собралось – пропасть, и как раз возле нашего Обводного. Ну мы в толпе и поживились... десятка два кошельков, небось, стянули.

– А победил кто? – сумрачно спросил Грегори, которого покорила простодушная радость атамана, с которой тот рассказывал про два десятка обворованных им и его шайкой зевак.

– Где? – не понял Яшка.

– У коней. Англичане или наши?

– Англичане вроде бы, – подумав, сказал атаман. Видно было, что он почти и не помнит. Да и зачем ему? Двадцать вытасненных портмоне важнее.

Прошли по Невскому до Троицкого переулка, повернули на юг, а потом, от Пяти углов – на Разъезжую. Грегори оглядывался с любопытством – дома в этой стороне города, которая, он уже знал, зовётся Московской, чем-то неуловимо отличались от тех, которые он привык видеть на Васильевском. И люди, которые то и дело попадались навстречу – тоже были мало похожи. Там, на Васильевском, так и чувствовался какой-то английский или голландский дух, а здесь – словно в русской провинции оказался – армяки и гречневники, малахаи и татарские халаты. Несло запахом сбитня и горячих пирогов – с рубцом, с кашей, с мясом и рыбой, с капустой. Когда Грегори обратил на это внимание Яшки, атаман мгновенно рассеял его недоумение.

– Так оно и есть, – подтвердил он. – Там, на Васильевском и на самом деле полно англичан живёт. Потому и наши, русские, стараются на них быть похожими. На Гороховой и Вознесенском – там немецкая мастеровщина больше, у Обухова моста – жида, на набережных, во дворцах – господа, чистая публика. А тут вот – наши русопяты, потому и зовётся – Московская сторона.

– А мы ку... – Грегори осёкся, и мгновенно поправился, – далеко мы идём-то?

Яшка покосился на него, весело хмыкнул, видимо, вспомнив, у кого в народе принято спрашивать «куда идём?», но смеяться не стал.

– В Глазов кабак идём, – ответил он серьёзно. – Страшное место, по правде-то говоря. Не передумал, *баклажка*?

– С чего бы? – огрызнулся Грегори, прибавляя шагу, чтобы атаман не подумал, что он и вправду боится. Яшка одобрительно кивнул головой и тоже прибавил шагу – день вот-вот должен был уже склониться к вечеру, и кто его знает, как там дела в Глазовом кабаке пойдут.

5

Глазов кабак – длинное низкое строение с нависающей над стенами черепичной кровлей и узкими окнами, похожими на бойницы в крепостной стене. Небелёный кирпич – словно пакугауз какой или казарма. Один угол чуть покосился и пошёл трещинами, его когда-то наспех замазали кладочным раствором, да так и оставили. Сейчас этот раствор взялся чёрными пятнами плесени и цвёл желтизной.

Низкая дверь, сколоченная из тяжёлых дубовых досок, неровно выглаженных когда-то скобелем, то и дело отворялась с ужасающим скрипом, пропуская людей то наружу, то внутрь – и каждый из них выглядел так, что Грегори так и тянуло взяться за плетень или за палку. Слишком уж зыркали они по сторонам. Но ни плетни, ни палки при нём не было.

Увы.

– А почему он такой? – спросил Грегори негромко, когда они приблизились к низкому крыльцу.

– Какой? – не понял атаман.

– Ну... – кадет чуть замялся, словно не мог слов подобрать. – Неприглядный какой-то. Как будто тут всё тяп-ляп, едва держится... даже дверь вон скрипит так, что зубы ноют и в дрожь бросает.

– Так дешевле, – пояснил Яшка как само собой разумеющееся. Должно быть, таким оно и было, но Грегори снова сказал, чуть мотнув упрямо головой:

– Но ведь это публику отпугивает...

– Эту публику попробуй-ка отпугни, – зло засмеялся Яшка, кивая на спящего на ступеньках мещанина – тот сидя кутался в плотный казакин, надвинув на лоб войлочную шляпу, на которой уже почти не таял снег, сопел носом и чмокал губами. Сивушным духом от него несло, пожалуй, сажени на три. – А чистой здесь не бывает.

Да, верно, такого вряд ли отпугнёшь, – подумал Грегори, останавливаясь у крыльца и разглядывая спящего мещанина. – Такому пожалуй, чтоб кормили плотно и недорого, да выпить поднесли по дешёвке да покрепче. А как там стены у кабака выглядят, да где на них плесень пошла – какая разница?

– А замёрзнет ведь, – сказал кадет, всё ещё разглядывая мещанина. Почему-то вдруг стало его смертельно жаль. Пропадёт ни за грош.

– Его дело, – сурово ответил Яшка. – Ему силой никто не наливал, да и в кости играть не заставлял, если он проигрался. Обрати пойдём, если будет ещё в силах – помогу ему домой дойти, глядишь, перепадёт чего. А нет – нет. Пошли, нечего столбеть да разглядывать, не в театре, небось.

Яшка ступил на крыльцо и остановился на мгновение.

– Не передумал? – спросил он снова. Но Грегори только досадливо дёрнул плечом и кивнул на дверь – отворяй, мол.

Дверь приветствовала их таким же жутким скрежетом петель, как и остальных – а с чего её делать исключения? Двери всё равно, кто пришёл – хоть дворянин, хоть холоп, хоть разночинец, хоть мещанин. Как умеет, так и здоровается.

Пройти в дверь получилось не враз – навстречу вдруг вылетел, с трудом удерживая равновесие и торопливо переставляя ноги, обыватель в потрёпанном сюртуке, когда-то ярко-синем, а сейчас какой-то грязно-голубоватом, совершенно выцветшем и вытертом. На голове обывателя с трудом удерживалась шляпа – широкополая, немецкая.

– А ну пожалуйста вон! – несло ему вслед.

Яшка, должно быть, привычный к такому, успел посторониться, а вот Грегори чуть оплошал. Бегущий обыватель зацепил кадета, не удержался на ногах и вылетел на крыльцо уже словно стрела из лука. Врезался в дремлющего мещанина, опрокинул его, и оба с грохотом повалились на утопанную дорожку, нырнув головами в сугроб. Мещанин от такого обращение проснулся, резко пришёл в себя и грозно завопил что-то неразборчивое, пытаясь выбраться из сугроба. На беду, они перепутались ногами с изгнанным из трактира и сейчас барахтались в сугробе, вопя на разные голоса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.